

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева

НОВОЕ УПОВАНИЕ
АННА ДЕ НОАЙ
Роман

О, душа моя, я дал тебе право говорить «нет», как буря, и «да», как открытое небо.
Ницше

Она изменчива и неизменна.

Мишле
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I

Утро было сухое и трещало от стужи. Ледяной и сжатый воздух, казалось, страдал от напряжения и сухо звенел. В мыслях таинственного скрывалось безмолвие; оно не было отсутствием шума, оно само было чем-то.

Благотворный и грустный ветер, налетающий с зимних полей, от времени до времени подметал этот уголок Мюэтты и Пасси, этот провинциальный вход в Булонский лес.

В прекрасной обнаженности дороги, мимо изгороди из голого кустарника проходили две женщины, – шли и возвращались, пробегая и возобновляя все тот же милый, привычный путь.

Одна из них, казалось, вдыхала этот снеговой воздух с жадностью, словно утоляя в нем какую-то глубокую жажду; в спокойном взгляде другой сказывалась душа более узкая и ровная.

Несмотря на то что они с полуслова понимали друг друга, несмотря на непринужденность молчания и дружеской рассеянности, видно было, что они – не одной крови.

Та, что была повыше, – лет двадцати трех-двадцати четырех с виду, и которую другая называла Сабиной, была тонкая и длинная, с шелковистым и бледным лицом, нежными, тяжело-черными волосами и глазами сумрачными, горящими и ускользящими, их перламутр вокруг зрачков был цвета голубых лун. Горячность глаз юной женщины придавала теплый вид всему ее телу.

Девушка, сопровождавшая ее, лет двадцати на вид, была Мария де Фонтенэ, сестра ее мужа.

Она тоже была хорошенькая: светлое лицо, легкие каштановые волосы, нежные рот и улыбка. Ее простой и робкий взгляд выдавал застенчивость.

Слегка утомленные прогулкой, они сели на скамейку и стали смотреть прямо перед собой.

Дыхание легким облаком вылетало из их вуалей. Они с удовольствием рассматривали поля Мюэтты, которую любили.

На мертвенных лужайках опустошенные вилообразные деревья вонзались в небо. Узкие розетки из маленьких растений, напоминающих петли, приклеились с несколькими травками к голой мерзлой земле. Кое-где, как теплое белое дыхание, поднимались каменные статуи. Безмолвие и оцепенение ключьями висели вокруг дач, мертвых в квадрате садиков. Вдали киоск, в котором летом играла музыка, казался призрачным от холода.

За деревьями от времени до времени проходил, скрежеща, трамвай.

Положив тихонько руку на руку своей belle-soeur и глядя на нее с заботливой нежностью, выдававшей тревогу ее благоразумного сердца, м-ль де Фонтенэ спросила:

– Что ты сегодня делаешь, Сабина?

– Ничего, – ответила Г-жа де Фонтенэ, – отдохну, почитаю, может быть, немножко выйду, а потом в пять ты придешь ко мне к чаю. Будет Анри, Жером и Пьер тоже придут.

Г-жа де Фонтенэ сказала, что ничего не будет делать, ибо все, ощущаемое слабо, казалось ей ничем; не чувствуя себя несчастной и не желая ничего иного, она все же смотрела на свою однообразную и узкую жизнь, как на мгновение сознания среди сна, как на светлое продолжение ночи.

Молодая девушка ответила, что, конечно, придет, а что до этого немного займется живописью. И потом прибавила:

– В конце концов, Сабина, ты счастлива?

– Да, – произнесла молодая женщина отчетливо и все же, как бы сумрачно вглядываясь в себя, – да.

И казалось, что, не находя в себе того, чего искала, утратив воспоминание и желание, она, действительно, считает себя счастливой.

Темные линии лица по краям глаз и известная, впрочем быстро слабеющая, сила в походке и жесте свидетельствовали у Г-жи де Фонтенэ о закравшемся в нее раздраженном, но и преходящем томлении.

– Знаешь, Мария, – продолжала она, – после мук рождения и смерти девочки, после такой страшной усталости, я что-то плохо знаю, где радость, но тем не менее, кажется, счастлива. Отдых, безопасность, сознание, что меня охраняют, укрывают, что я дышу только смягченным воздухом, все это, мне отныне и навсегда необходимое, дает мне удовлетворение, которое, может быть, и есть счастье.

– Все же ты иногда грустишь, Сабина...

– Видишь ли, несмотря на то, что я сейчас благоразумна и сосредоточена и что это, очевидно, и есть моя настоящая природа, мне все же минутами вспоминается одно прежнее существо, такое другое, такое сумасшедшее, такое бедное, но которое так смеялось и плакало, что можно было умереть от счастья...

Она подняла вуалетку, мешавшую ей смотреть.

– Видишь ли, Мария, – продолжала она, – я когда-то была мрачна и своевольна и так грустна, так ожесточена и упряма, что судьба смотрела на меня и не трогала, потому что боялась. А потом, однажды, я уступила, смягчилась, перестала знать, чего хочу и не хочу; тогда все пошло скверно: пошли заботы, болезни, неудачи во всем...

– Но теперь тебе лучше, все это уже не так теперь? – спросила молодая девушка, глядя в самое сердце другой.

– Нет, – сказала Сабина, – все это уже не так теперь, бывают часы совсем хорошие, особенно вечером, при лампе, когда я чувствую, что вокруг нас ничто не двинется; только я не очень знаю, зачем живу; ты знаешь, зачем?

Мария положила голову, где мех и волосы сливались и дружно блестели, на плечо Сабины и благоразумно сказала, что да, понимает, что живешь для ревностной и терпеливой культуры ума и совести, что же касается ее, то она, подчинив свою жажду знания суровому жребию, испытывает полное удовлетворение от чтения и живописи.

– Я думаю, – говорила она, и веки ее робко бились, словно желая скрыть душу, появившуюся в ее светлых глазах, – я думаю, что нежность и долг – настоящее счастье. Мне кажется, что то, что я делаю, не только моя отдельная задача, но входит в движение какого-то большого механизма, где все – порядок и труд... Когда я работаю в своем парусиновом фартуке, над которым ты смеешься, мне кажется, что я – как монах в келье, что где-то еще другие монахи в других кельях и что нас, таким образом, целый светский монастырь счастливых и скромных тружеников.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– А воздух, а наслаждение, – сказала Сабина, – а грусть именно в ту минуту, когда ее хочешь, а безделие с его прекрасными замыслами – глухими и темными, а слишком долгий смех или вздох надо всем, такой глубокий...

– Ах, ты, моя сумасшедшая! – отвечала молодая девушка, обнимая Сабину за плечи и держа ее, как драгоценность, этой заботливой рукой с тесно загнутыми пальцами. – У меня тоже свои радости. Когда я закрою свои книги и тетрадки, воздух, которым я дышу, мне награда. Что-то во мне говорит: «То, что нужно – сделано; иди играть».

– Да, – сказала Сабина, – и я так чувствовала когда-то до всех этих горестей. Теперь я сержусь.

– Пора домой, – испуганно воскликнула Мария, только что взглянув на часы. – Мама меня, должно быть, уже ждет.

Они встали и пошли.

Заклученная в вуаль, меха и муфту, Мария шла, опустив голову, навстречу стуже, и прекратив разговор. Тусклый воздух как бы окружил ее безмолвием и смертью. И тогда как молодая девушка выглядела зябкой, защищенной и соответствующей зиме, Г-жа де Фонтенэ в своей серебристо-серой шляпе, увенчанной красной листвой, и мягковисающем теплом пальто, походила на эти статуи Помоны или Флоры, которых ничто не может одеть: ни плющ, ни иней; которые и на северном ветру сохраняют свой летний лик; и лицо ее, беспорядочное от блеска глаз, выдавалось из одежды, раздражающее и обнаженное. На пути к дому они услышали шарманку. Разбитые звуки осыпались один за другим, как бы падая с клавиатуры из железа и стекла.

Не было видно ни шарманщика, ни шарманки, находившихся, очевидно, в соседнем переулке, но впечатление было так сильно, что Сабина сразу, с тонкостью вырезанной картинки, наклеенной на дымное желтое небо, представила себе нищего в тени ворот, его черный деревянный ящик с куском красной клеенки, прибитым к задку, и маленькую деревянную чашку для денег.

И музыка спотыкалась, несчастная и нищенская, не говорящая о наслаждении, несмотря на меткие напевы; музыка слабая, музыка с простудливым кашлем, поднимающаяся в зимний воздух; музыка, скованная, говорящая, что нет любви для людей, когда земля замерзла, когда нет ни крова, ни хлеба, ни лунной ночи, теплой и светлой, как комнаты, ни досуга, ни тяжелых диванов и духов...

Г-жа де Фонтенэ думала о том, что любовь зимой не для бедных, а лишь для тех, кто, имея возможность жить, имеет это странное желание: умереть от жара и испуга.

Она взглянула на Марию грустными глазами. Молодая девушка, не замечая мыслей подруги, ответила взглядом, полным простой жалости, и вздохнула:

– Где он, бедный? И что за дурная привычка никогда не брать с собой денег!

В настоящее время они стояли перед домом, где м-ль Фонтенэ жила с матерью, и находившемся на небольшом расстоянии от дома Сабины. Они долго держали друг друга за вытянутые руки и расстались, смеясь.

Г-жа де Фонтенэ возвращалась домой замедленным шагом.

Она с удовольствием рассматривала маленький особняк, к которому шла, – ящики с цветами, подвешенные к решеткам, перед окнами...

Дойдя до двери, она углубилась в свежий и звонкий каменный вестибюль слегка деревенского вида, с медными на стенах гвоздями, на которых висели мужские шляпы и трости.

Она любила это ощущение вновь обретенного дома, тишину комнат, о которые бились слабые и отдаленные звуки улицы.

Она пошла к мужу, которого застала за уборкой книг, поцеловала его и, проведя за руку в столовую, села против него за стол.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Он говорил ей о механике, которой занимался с увлечением, об электротехнике и успехах воздухоплавания. Она не очень его слушала, она ни о чем не думала. Будь у нее хоть немного энергии, она могла бы ответить ему с видимым участием, но сейчас она, правда, слишком устала и ни о чем не могла думать.

Встав из-за стола, Сабина и г. де Фонтенэ поднялись в обширную и неопределенную комнату, называемую мастерской. Молодая женщина тотчас же растянулась на диване, тем временем как ее муж, выпив кофе и выкурив папиросу, рассказывал ей о том, что намеревается сегодня делать, и нежно с ней прощался.

Одновременно и деятельная, и истомленная Сабина проводила там свое время, зачастую растянувшись на шелковом диване, садясь, поднимаясь, раскрывая и закрывая книги, охваченная сладким томлением, в которое входили: тонкая и живая бесчувственность, наслаждение дышать этим мирным и ровным часом и легкий страх смерти.

Существо ее, утомленное сильными страстями детства, случайностями спешного брака и страданиями неудачного материнства, отдыхало здесь, в глубине этих мягких послеобеденных часов, укачиваемое радостью тихого существования и чувственного страха смерти.

В таком изнеможении, длившемся часами, она вспоминала свое пламенное и своенравное детство, свое деятельное и жаркое детское сердце, о котором теперь думала с удивлением и неведением, как девочка, которая бы вспомнила, что была когда-то страстной женщиной.

Ей было семь лет, когда умерла ее мать, и хотя она редко бывала с ней, все же отчаянно ее оплакивала всей своей преждевременной и переполненной душой, уже ощущавшей ужас, исключительность и постыдность траура.

В течение нескольких лет она не могла есть и наблюдала это с немым и благоразумным изумлением детей, еще не понимающих, какая сила в них уже отказывается жить.

Восприимчивая до помутнения рассудка и телесного недомогания, она выростала подле г. де Розэ, безразличная и редкая снисходительность, горький склад и тонкий, сложный ум которого внушали ей восхищение, лишенное нежности.

Изумительное детство: мистическое и влюбленное, отчаянное, благоразумное и буйное!

Нет монастыря, более подвластного дисциплине желания, правилам мечты, крайнему напряжению нервов и нарушению телесного равновесия, чем это было с воспитанием Сабрины на ее тринадцатом году.

Запертая в темную и тяжелую комнату, она писала, читала, играла на рояле, мечтала по вечерам возле туманной, сентиментальной, тоже целомудренной немки, вечно занимавшей свою воспитанницу жалобной повестью своего далекого обручения и прелестями любви, не подозревая, что они несколько близки головокружению и наслаждению.

Но Сабина, соединявшая в себе французскую раздраженную точность и ясность отца с итальянской страстностью матери, вдыхала эти воспоминания с задыхающимся и трепещущим упоением.

Вечером, в классной, тяжелой от черно-красных гардин, печальной от ореховой мебели, она, положив локти на стол, сжав руками голову, со взглядом, освещенным лампой и разгоряченным глухим волнением, опьянялась грустью своей воспитательницы, ее рассказами о встрече, о клятве, о прогулках по садам и площадям маленького вюртембергского городка, об измене юноши, покинувшего невесту, умирающую с горя и преданную ему навек.

Эта любовь делала в ее глазах скромную воспитательницу сияющей и легендарной.

Уважение, с которым та относилась к своему приключению, уясняло Сабине, что в восторгах и неудачах страсти – все назначение, вся гордость и все достоинство нашей судьбы.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Она стала жить идолопоклонницей страсти, замечая из всего, что узнала, лишь обжигающие места истории, мгновения страсти на человеческих лицах.

Она бредила Элоизой, Жанной д'Арк, наделяла ее сентиментальным волнением при встрече с королем Карлом и, подолгу разглядывая географические карты, любила вызывать в своем воображении белые очертания сладострастных городов, вроде Мессины, и Азовское море, полное сладких струй...

Пламя у этой девочки поднималось из глубины крови, достигало мозга, зажигало в ее мысли, в ее рассудке пляшущий красный пожар. Ни одного суждения, никакого удержу не было в этом уме, переполненном первой волной. Во мгновения религиозного подъема, она измышляла всевозможные ежедневные искусы, жаждала всех строгостей Кармэля и сразу от этих мерок совести переходила к самому резкому дерзновению, к полному освобождению всего существа, к сознанию неизбежности и древнего рока.

Встреченное ею к пятнадцати годам в какой-то книге изречение Спинозы: «Вера в нашу свободу есть только неведение причин, заставляющих нас действовать», – напоила ее светом, как бы успокоила в ней прирожденную муку.

Все же ей предстояли еще извилистые, скорбные пути, на которых ее душа металась от веры к безразличию. Потом наступило спокойствие, она стала брать от религии лишь ее позолоченные празднества, ее запахи, хранимые в священном воздухе, и медленно проходила вдоль церковных чудес из камня и стекла.

С отцом своим, просвещенным, тонким и рассудочным, она говорила обо всем. Спорила и утверждала, как другие клянутся. Вслед за ее утверждением постоянно слышалось: «Клянусь, что это так!» «Это правда», она произносила голосом, которым бы крикнула: «Дайте пить!» – с уверенностью, почерпанной в самых недрах ее существа...

Ей минуло шестнадцать лет; это был бурный год; она властвовала над окружающими: над г. де Розэ, снисходительно и любезно шедшим навстречу растущей в ней женщине, и над гувернанткой, которая так чтит социальный порядок, что теперь с благоговением созерцала эту воспитанную ею молодую девушку благородной крови.

Друзья отца, их сыновья, несколько сверстников Сабины, бывали у них в Париже и гостили летом в замке г. де Розэ в Турене.

Сабина радовалась играм и воздуху и ощущала своим окрепшим сердцем, что более здоровое чувство жизни уменьшало в ней грусть и томность, заставлявшие ее в детстве страдать от сумерек, мягкого запаха петуний, осеннего ветра в камине, резкого крика ласточки.

Теперь она смеялась, забавлялась, загромождала свое время ребяческими кознями. Ей нравилось волновать окружающих юношей, заставлять их жаждать цветка, который она сорвала и подержала в руках, яблока, к которому прикоснулась. Находясь с ними, она сознавала силу своего очарования и своего природного, все растущего знания уловок и взгляда и гордилась тем, что, благодаря своей исключительности и положению отца, стоит выше их надежд и желаний.

Мысль, что эти незначительные и милые молодые люди могли бы добиться ее руки, вздымала ее на дыбы, отвращала ее душу.

Думая о любви, она не представляла себе простых радостей молодого союза, согласия семьи, долгих дозволенных уединений; она бы не оставила, в темноте, своих рук в руках одного из этих терпеливых, набожных и робких юнцов; более острое волнение захватило ее однажды вечером. Один итальянец, по имени Фабий Маури, государственный человек, с которым г. де Розэ встречался в Риме, как-то проездом по Турену обедал в замке.

Сабина его не знала и не обратила на него внимания, несмотря на прекрасный склад его лица. Она продолжала смеяться и болтать с несколькими сверстниками.

Этим вечером, после обеда, в замок зашли бродячие певцы, переносившие из города в город один и тот же напев. В гостиной, обитой деревом и генуэзскими холстами, под лампами, спущенными с потолка, началось пение... Они играли на скрипке и на гитаре и пели грустные и страстные стихи – бесхитростная поэзия, где речь идет о

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
солнце и красавицах, увиденных нищим артистом за стаканом вина.

Сабина слушала; она точно пила музыку глотками с этим трепетом век, легкой дрожью ноздрей, являющимися как бы движениями жажды и как бы наполняющими и утоляющими раскрытую и горячую душу. Затуманенная до головокружения, она рассеянно оглянулась и встретилась с тайным и упрямым взглядом Фабия, уже давно, без сомнения, на нее направленным.

Музыка только что кончилась. Итальянец встал и подошел к молодой девушке; они заговорили. Вещи, которые он ей говорил, не были значительны, да и он сам, по-видимому, на них не настаивал. Словами он, казалось, пользовался лишь для того, чтобы легче и законнее проявить свое усиленное внимание к м-ль Розэ, и Сабина, в смущении, отвечала ему неловко.

Она с приятным волнением замечала удивительный взгляд этого человека, взгляд хищный, сожженный, как бы изнеможенный от жара, и звук его смеха, жестокий и нежный. Он уехал на следующий день, она с ним больше не увиделась и больше о нем не думала, но та же девушка, только с раздражением и какой-то глубокой телесной униженностью переносившая надежду некоторых молодых людей на брак с ней, со сладостной гибкостью и чудесным потрясением гордости стерпела резкое желание этого мужчины.

Еще два года прожила Сабина этой беззаботной, сильной и веселой жизнью.

Однажды ее отец, возвратившись из путешествия, объявил ей, сначала нерешительно и нежно, о своей предстоящей женитьбе на молодой австрийке, чье присутствие, по его словам, явится для Сабины очаровательным развлечением.

М-ль де Розэ не поверила в возможность его слов. Это меняло всю ее жизнь. Первой мыслью ее всегда было, что то, что слишком бы ее огорчило, минует ее, несмотря на все.

Она стала умолять отца с самым доверчивым отчаянием.

Она почувствовала, что любит его ревниво, с мистическим тяготением к отцовской мудрости, и что безумие, которое он хочет сделать, меняет, убивает его в ее глазах.

Но г. де Розэ кончил тем, что оттолкнул ее, охваченный темной привязанностью к девушке, которую желал.

Тогда с обессиленной Сабиной сделался приступ душевной мути; ей трудно было есть и спать в отцовском доме; она подолгу рассматривала портрет родной матери, прижимала к себе гувернантку и говорила ей в слезах: «Только вы у меня!»

Она стала думать о замужестве.

Решилась она на него, когда г. де Розэ известил ее о своем отъезде в Вену, где совершится его свадьба, и о последующем путешествии.

Гувернантку отозвали к племянницам, внезапно оставшимся сиротами и которым она сочла теперь долгом посвятить свою жизнь.

Сабина обручилась с Анри де Фонтенэ.

Он любил ее, он не был светским человеком. Встречаясь с ним в течение полугода, она убедилась в его положительности и прямоте. Он принадлежал к небольшой группе молодых людей, занимавшихся наукой.

Вскоре Сабина с сожалением поняла, что этот человек, такой суровый с виду и все же слабый, как будто крепость тела не передалась уму, вносил в свои исследования скорее любовь к действию и движению на открытом воздухе, чем культ открытий и точности. В морских воздушных путешествиях, с их волнующими опытами, он больше всего любил горизонт, пространство, волну; и подчас его мечтательность, никогда не выражаемая и темная для него самого, устремлялась на голубоватый блеск звезды, удивлялась бесконечности.

У него не было воспитания и культуры грусти, и такие откровения грузно бросали

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
его в ослепленную глубь самого себя.

Сабина была ему благодарна за то, что он любил книги, не как она, нетерпеливо и разрушительно, но усердно приобретая и соединяя редчайшие из них.

И прием, оказанный ей Марией де Фонтенэ, окончательно склонил м-ль де Розэ к этому браку, в который она вступала с усталой и побежденной душой.

II

Об этих-то своих прошлых днях и вспоминала в тот день потихоньку Сабина, лежа на оранжевом диване, посреди подушек, раздувавших вокруг нее свои лимонно-желтые шелка – английские шелка, мягкие и потертые на взгляд и ощупь.

Напротив нее – камин, где пламя, сжатое между двумя догорающими поленьями, подымалось и опускалось. Вокруг всей комнаты легкие стеклянные книжные шкапы; наискось, в одном из углублений стены, открытый рояль с оставленными на пюпитре партитурами.

На рояле пурпурная бархатная ткань, затканная тяжелым серебром и вырезанная, очевидно, из какой-нибудь древней ризы; на ней слепок восхитительного лица Бетховена, лица широкого и плоского, растянутого смертью и как бы раздавленного величием.

А там, на столиках, в углублениях между мебелью, одноцветные, наподобие японских, вазы, сплошь желтые или травянисто-зеленые; и в вазах цветы, распространяющие кислый запах усталых венчиков и мокрых стеблей.

За окном смеркалось и темнело от метели, и г-жа де Фонтенэ понемногу задремала, заснула в этой тихой-тихой комнате, где спокойно тикали часы, отмечая лишь ленивые и беспечные мгновения; и книга сонетов Ронсара, которую она пыталась было читать, так и лежала в ее открытой руке.

Спавшая еле-еле г-жа де Фонтенэ слышала часы, чувствовала теплоту замкнутого вокруг нее воздуха, угадывала холод и тьму за окнами. Жизнь казалась ей мягкой и доброй. Долго лежала она так, уступая дремоте, прерывая ее, чтобы еще лучше ею насладиться, вновь в нее погружаясь... Ничего лучшего ей не хотелось... Раздался звонок.

«А! – подумала она. – Вот Анри пришел, и другие скоро придут, надо вставать и одеваться».

Она встала и сошла по лестнице к себе в комнату. Дорогой она встретилась с Анри, которому с нежным и добрым взглядом протянула руку для поцелуя, и Пьером Балансом, близким другом ее мужа, братским гостем их дома.

– Здравствуйте, милый, – сказала она с веселым смехом, словно при каждой новой встрече с ним, а встречалась она постоянно, ее снова удивляло и товарищески забавляло видеть его таким привычным и все еще для нее чужим.

Вот уже год, с самого его приезда из Индии, как она непрерывно с ним встречалась и все еще не знала его, замкнутая в себе, суровая и усталая, мало занятая другими.

Смех казался ей гостеприимной встречей, дружеским путем к этому человеку, до сердца которого ей не было дела.

Впрочем, если бы понадобилось, она сумела бы определить его характер, но, не говоря о вещах, она о них не думала.

– Идите в мастерскую, – сказала Сабина Пьеру и Анри, – сейчас подадут чай, я оденусь и приду.

Пьер Баланс был высокий тридцатилетний мужчина с узковатым лицом, короткой черной бородой и черными, слегка седеющими волосами; в его светлом, очень близоруком взгляде временами сказывалась беспокойная робость близорукости. Но обычным выражением этого лица были веселье и страстность, о которых свидетельствовал легко вспыхивающий румянец.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Пьер Баланс подружился с Анри де Фонтенэ еще в школе. На редкость умный и деятельный, он оказал влияние на образ мыслей и жизнь друга, приучил его к любознательности. Сам он – нетерпеливый и подвижный – ежеминутно освобождался от своих пристрастий и теперь занялся политикой, с гневом отдаваясь общественным преобразованиям и готовясь в депутаты.

Г-жа Фонтенэ, в шумном и свободном домашнем платье, легкая тяжесть которого, казалось, давила ее, так ее нежное и усталое тело легко сгибалось к вечеру, – поднялась в мастерскую, где Анри и Пьер сидели, куря, за чаем; только что пришедшая Мария сидела в качалке, покачиваясь и тихонько слушая.

– Что вы сегодня делали? – спросила Сабина Пьера, наливая себе чашку чая и как бы думая о том, что говорить.

– Почти весь день провел в Лувре, – ответил он, обеими руками разглаживая волосы, как это делают после буйного волнения. – Было великолепно. Ах, дорогой, Винчи! – прибавил он, беря Анри под руку.

И, произнося это, он глядел такими глазами, что те, к кому он обращался, невольно созерцали то же, что он. И сразу, круто он обрывал свое волнение, возвращался к обычному веселью, как если бы высокие напряжения мечты не годились для жизни.

– Вот Жером идет, – сказала Сабина, заслышав шаги по лестнице.

Дверь открылась, и вошел Жером Эрель. Он сосредоточенно и без улыбки поздоровался со всеми, считая, что вежливость несет в себе торжественность и глубокомыслие.

Молодой человек, таким образом вошедший к своим друзьям, был отдаленным родственником Анри; мать его, родившая его с семьей де Фонтенэ, увлеклась одним польским музыкантом французского происхождения – Жаном Эрель, вышла за него замуж, несмотря на сопротивление родителей, и поселилась с ним в Польше. У нее от него был сын, у которого с детства открылся музыкальный дар.

Она умерла к его двадцатому году. Молодой человек, оставшийся без средств, подумал было об уроках музыки; но болезненное душевное тщеславие, природная и острая склонность к изяществу и безделию слишком затруднили ему этот заработок. Тогда он стал сочинять, был благосклонно встречен любившим его русским светилом и, получив к двадцати трем годам небольшое денежное наследство от одной из сестер отца, поехал в Париж, где его дружно встретили и окружили г. и г-жа де Фонтенэ.

Г. де Фонтенэ позаботился о том, чтобы ввести его в круг музыкальных знаменитостей, с которыми он пожелал познакомиться. Он работал, сочинял искусную и новую музыку, был очень предан г. де Фонтенэ.

Удовлетворенность самим собой, своей наружностью была озабоченной и не располагала к нему.

Г-жа де Фонтенэ предложила ему чашку чаю, которую он принял молча. Пьер Баланс кричал, горячился из-за революции, Анри объяснял, что можно было сделать ее иначе. У него была мания переоценивать явления, уже совершившиеся. Сабина удостоверилась в том, что шум, который они вдвоем производили, споря, не мешал ей ни о чем не думать. Мария переносила взгляд с одного собеседника на другого, боясь ошибиться, выбрав одно из мнений.

Затем, желая быть вежливой, Сабина подошла к Жерому, рассеянно с ним заговорила; в его первые посещения она старалась беседовать с ним о его замыслах, карьере, чтобы заинтересоваться ими; она ими не интересовалась.

Этот молодой человек ей не нравился.

Хотя он и выглядел скромным и сдержанным, все же казалось, что речи окружающих не производят на него ни малейшего впечатления, не проникают в его мысли и не меняют их.

Г-жа де Фонтенэ чувствовала, что его не удивляет.

Она и не желала его удивлять, но ей бы хотелось, чтобы это сделалось незаметно для нее, само собой; она привыкла слышать от окружающих: «Вы, сударыня, не то, что другие».

Она видела, что он занят собой, и оставила его в покое.

– Пусть теперь Жером нам что-нибудь споет, – воскликнул Пьер. Он не переубедил Анри насчет Мишле, историка, и с трудом душил свое недовольство.

Собрания у г-жи де Фонтенэ всегда кончались всеобщим желанием послушать пение молодого человека, но Жером Эрель не сдавался и находил предлог для вежливого ухода.

На этот раз он смирился.

Он взял папироску, зажег ее, положил на дерево рояля и стал играть.

Вокруг него молчали, каждый искал себе уютное положение для забвения и мечты.

Анри, не любивший музыки, брал какую-нибудь книгу, читал, не испытывая волнения от звуков, наполнявших комнату словно нежной молитвенностью и ладаном.

Жером в это мгновение играл и пел, слегка приподняв лицо, стараясь вспомнить слова, плохо державшиеся в памяти. Неуверенно блуждая по клавишам, он пел одну из восхитительных мелодий Форе.

Бледное лицо его из-под темно-белокурых волос с золотыми прожилками отражало волнение и тонкий восторг.

Он пел, и музыка, смешиваясь со словами, расцветала, чувственная и алая, как цветок, рожденный из крови.

Он пел, и это было, как легкая рана, откуда бы полился прозрачный и сладкий сок.

«Les roses d'isaphan...» – вздох выростал, возносился, начинался вновь, «dans leurs gaines de mousse...»[1] – еще раз вдыхалось и выдыхалось сладкое томление, «les jâminis de Mossouï, les fleurs d'oranger»[2] – склоненная и длительная нота дрожала, как палец, упертый в блаженное рыдание...

О, благоухание! О, опьянение! О, разбитый флакон Востока! О, раздавленные цветы магнолий, чей запах, умирая, убегает и плачет!

Весь воздух в комнате дрожал.

«Ах! – думала Сабина. – Музыка, музыка! мужчина и женщина – такие жалкие, любовь – такая невозможная, все вокруг нас такое грустное и низкое, – и музыка, дающая им во сне эти лучезарные тела, эти страдальческие, нежные рты, эти взгляды, более красноречивые и близкие, чем руки вокруг запрокинутой шеи... Господи! – думала она, – как это больно, и откуда это вечное смутное ожидание поцелуя?.. Может быть, любовь – только большая жалость друг к другу тех, для кого музыка, стихи и вся красота – такое отчаяние...»

Жером встал и закрыл рояль. Было поздно, он собирался уходить. Он взял еще одну папироску. Он кашлял. Он взял ее в рот и зажег.

Сабина удержала его за руку:

– Оттого вы и кашляете, – сказала она, – вы все время курите. Не курите.

Она смеялась удивлению Жерома и собственной короткости, которой сама не ожидала.

И прибавила, слегка смущаясь:

– Ну да, ведь вы поете и это вам вредно.

– Ох! – смеясь воскликнул Пьер. – Уж эти мне музыканты! Все-то о них заботятся, вот счастливые! Во всяком случае, Жером, будете ли вы курить или нет, идемте. Я

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
думаю пообедать на бульваре, это вас устраивает?

– Вполне, – сказал Жером. – Анри, почему бы вам не пойти с нами? Повеселились бы вместе?

– А дамы? – сказал Пьер с намеренно-смешным жестом, долженствующим изобразить воспитанность и сожаление.

– И дамы, конечно, – сухо зато ответил Жером, не допуская даже шутивого замечания, касающегося его вежливости.

– Что же, идемте? – спросил Анри, глядя на жену и сестру и в полной готовности сделать то, что им будет угодно.

– Идем? – сказала Мария, повернувшись к Сабине. И Сабина в затруднении не знала, что сказать. Она взвешивала оба желания и никак не могла решиться.

– Ну, реши, – настаивал Анри, – видишь, они нас ждут, а тебе еще нужно одеться.

– Тогда я останусь, – ответила она, направленная нетерпением Анри, – я устала и пообедаю с Марией. А ты иди, – ласково обратилась она к Анри.

– Хорошо, – воскликнул Анри, – все теперь? Тогда, – до свиданья.

– До свиданья, – ответила молодая женщина, – до свиданья, Пьер, до свиданья, Жером.

– Теперь давай обедать, – сказала Сабина, взяв Марию под руку и увлекая ее вниз по лестнице в столовую.

Они быстро покончили с обедом, любя сидеть за столом лишь за неимением более сильных удовольствий. На этот раз их ждала непринужденная и горячая беседа.

Они устроились в маленькой гостиной, рядом со столовой; обои цвета увядших роз; кресла времени Людовика XV с переплетенными на вершине их мягких выгибов двумя деревянными цветами; зеленые лаковые часы с крупными цифрами, – все это поселяло здесь тайную сладость XVIII века.

– Задернем занавески, – вздохнула г-жа де Фонтенэ, опечаленная мыслью о темной и холодной ночи, прильнувшей к окну, – и поправь полено, Мария, а то камин сейчас задымит.

Мария потрясла в огне щипцами, и чудесное полено, красное и серое, рассыпалось искрами.

– Так хорошо, – сказала Сабина.

И пока Мария устраивалась и протягивала к огню ноги, она растянулась на длинном диване.

– Бог знает, что они сейчас делают! – воскликнула она. – Любят ресторан, это их веселит, как странно! Гораздо спокойнее обедать дома, не задеваешь все эти чужие жизни. Мне лучше, – продолжала она, уходя в подушку, словно ища защиты и заботясь о себе, – мне лучше совсем не знать, что есть другие.

– Жером и Пьер – милые, – сказала Мария, глядя в огонь и развлекаясь движениями положенного ею полена.

Сабина ответила рассеянно и с большими перерывами:

– Да... Жером мне не нравится... У него очаровательный голос...

И как бы внезапно вспомнив:

– Ты видела, – продолжала она, смеясь, – как я попросила его не курить. Это с моей стороны было безумием, но после этого он мне показался уже менее неприятным. Любопытно, что люди сразу становятся немножко дороже, как только начнешь о них заботиться, прикоснешься к их жизни.

– А Пьер, – перебила Мария, – ты его любишь?

– О, да, у меня к нему большая дружба, он по-настоящему умен и так удивителен со своей раздражительностью, отсутствием памяти, с этими страстями. Бог весть, где и с кем. И минутами это забвение всего, помещичий вид...

– Он верный друг, – отчетливо подтвердила Мария.

– Особенно для тебя и Анри, которые его так давно знаете.

– Все же, – возразила Мария, – вы с ним как-то всегда во всем сходитесь, вы всегда заодно против Анри, когда говорите о политике.

– Да, правда, я схожусь с ним во многом, – ответила г-жа де Фонтенэ, – но не в беседах о жизни, о грусти, о слабости, о раздражении, о скверном настроении. Он всегда доволен, я люблю, когда жалуются.

– А когда жалуются, злое ты существо, – перебила молодая девушка, – когда жалуются, как, например, эта старуха, г-жа Мартэн, у которой умер сын и которая приходила к тебе плакать, – ты бледнеешь, тоже начинаешь плакать, два дня выбиваешься из сил, а на третий говоришь мне: «Мария, поди к ней ты, я больше не могу. Эти несчастные – ужасны, это меня убивает». Скажи, что ты этого не говорила!

– Я должна была так сказать, – задумчиво и грустно ответила Сабина. – Когда больше нет сил, от всего ограждаешься, даже от доброты, это-то и ужасно...

– Но тебе гораздо лучше, – продолжала Мария, в умилении и отчаянии взяв руку Сабини и прижимая ее к щеке.

– Да, милая, мне может быть лучше, а ты, ты, деточка, – воскликнула Сабина, целуя Марию, ибо нежность к ней всегда вызывала в ней сильнейшую ответную, – ты ведь довольна, правда, чего ты хочешь? У тебя все, чего хочется?

И прибавила тише:

– А любовь?

– Все по-прежнему, – весело ответила Мария, – никого не люблю, а тех, кто меня любит, жалею, – вот и все... Скоро опять начнутся вечера, мне даже не хочется бывать, мама устает, а я не веселюсь. Всех этих молодых людей я знаю и, наверное, даже к ним несправедлива, не могут же они, в самом деле, быть так глупы, как я думаю. Есть же у них дом, письменный стол, какая-нибудь книга, какая-нибудь работа, подписывают же они свою фамилию – ну, под письмом или счетом, – есть же у них какая-нибудь жизнь, а именно этого и невозможно себе представить, когда на них смотришь.

– Ты думаешь, – сказала Сабина, – что у них только и жилища, что фрак и перчатки, и что это тоже их библиотека?

– Вот именно, – смеясь призналась Мария, – совершенно точно. И, видишь ли, поэтому я и жду чего-то совсем удивительного, чего никогда не будет: кого-нибудь, вроде Филиппа Форбье, о котором всегда говорят Анри и Пьер.

– Да, – произнесла Сабина, – какой он, этот Филипп Форбье?

– Правда, ты его не видела? – удивилась Мария. – Он почти нигде не бывает, и к нему тоже не ходят, чтобы ему не мешать. Анри видится с ним не каждый год.

– Но, что он, собственно, – продолжала Сабина, – химик, философ, математик?

– Все вместе, – сказала Мария, – он пишет книги, читает лекции, кажется, немножко занимается ваянием. Он старше Анри, они когда-то встретились в комитете какого-то научного общества; Филипп Форбье был уже женат, у него было двое детей. Впрочем, – произнесла она уже быстрее, возвращаясь к их первому разговору, – если я не выйду замуж, это тоже хорошо; я совсем не несчастна; разве в самом деле необходимо выйти замуж? Непременно любить кого-нибудь и чтобы

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
тебя любили?

– Но в этом, в твои годы, вся мечта, вся надежда, – ответила, оживляясь, Сабина,
– а когда этого больше нет, когда проходит старость, надо уйти из жизни, если
хватит смелости, потому что все кончено...

Обе молчали; потом поболтали еще о разных вещах.

Но Сабина, истомленная, думала о себе.

Думала о своем грустном и легком существовании, о своих ребяческих горестях, о
радостях, которые ей давали уют и отдых, о радостях удовлетворенного тщеславия,
о своей безмятежной нежности к Анри, и, совсем устав, вздрагивая у потухающего
огня, уже укачанная сном:

– Знаешь, Мария, – сказала она, – о том, о чем мы сейчас с тобой говорили, мне
кажется – ты права, любовь совсем уже не так много значит в жизни...

III

Зима с ее радостями холодов и затворничества прошла потихоньку, и в должный срок
вернулась весна, сначала нечувствительная, с прежним холодом и новым теплом.
Потом начались апрельские дни, с их резкими потоками желтого солнца и долгими
белыми сумерками.

Сабина несколько изменилась. Она стала сильнее и живее и как-то вся
расправлялась, вдыхая в себя новое время года.

Нрав ее делался ясным и простым. Она чем-то занималась, обращала внимание на
других. Появилась также внезапная жажда развлечений, появились нежные и
детски-сентиментальные желания.

Она говорила мужу:

– Сегодня мы пойдем в театр, вдвоем – вы и я, а Марии не скажем.

В другой раз она заставляла Анри стоять с ней вечером под луной у окна и,
прильнув головой к плечу мужа, в позе томления и вздоха, пыталась, чтобы и он,
как она, почувствовал смутную грусть.

И, упорствуя в желании видеть его подобным себе, говорила:

– Чувствуете ли вы, что вечер сегодня цвета молчания и дыма, – того дымного неба
над полем битвы, как в панорамах. Это так грустно, и я это обожаю.

И прибавляла: «Когда все так прекрасно вокруг, как сейчас, мне хочется плакать,
– а вам?»

Ему – нет. Он ласково говорил ей, что она сумасшедшая, что она простудится, что
она читает слишком много пустяков, что он ее очень любит, что она это отлично
знает, что ей пора спать.

Сабина, упорно требовавшая нежности, сердилась, молчала в течение нескольких
дней и вдруг неожиданно появлялась – снова сентиментальная – в библиотеке, где
работал Анри. Она нарочно для него приколотла к платью цветок, который снимала и
давала ему.

Она садилась рядом с ним и мечтала о будущем.

Мечты, где они всегда были вдвоем – только он и она: на лодке, где-нибудь на
Северном море, под Эльсинором; или на холмах Италии, взрытых длинными корнями
маслин; или в каком-нибудь уголке Франции, в белом домике с балконом в розах,
белым гравием и фонтаном.

Он отвечал, занятой и счастливый, одной рукой беря ее за шею, другой – держа
книги:

– Ты хочешь слишком многого зараз, это не практично, но очень мило, – добавлял
он, целуя ее.

Она продолжала, почти плача от избытка нежности:

– Разве вы знаете, как я вас люблю и как я вам отдаю все свое прошлое? Я иду к вам из самой глубины моего детства, почему вы меня не хотите, милый?

Он удивленно смеялся:

– Я тебя не хочу, Сабина? По-моему, ты сходишь с ума. Это я тебя люблю и всегда любил гораздо больше, чем ты меня.

– Почему же ты тогда все время занят и почему тебе никогда не грустно? – вздыхала она.

– Но зачем тебе непременно надо, чтобы мне было грустно, – теперь, когда ты совсем здорова, когда ты скоро сможешь жить, как все, интересоваться чем-нибудь, заниматься и, может быть, – ты увидишь, какое это тебе будет счастье – может быть, сможешь иметь сына, который тебя утешит в потере девочки.

– Нет, если бы ты меня любил, тебе было бы грустно, – говорила она, – как мне, с тех пор, как я тебя люблю, потому что хочется чего-то, я не знаю, чего хочется...

– В таком случае, – продолжал Анри, растроганный и немножко гордый, – дай мне поскорей покончить с этой книжной уборкой, а потом мы с тобой пообедаем где-нибудь в Булонском лесу; это будет отлично, милая.

– Да, – говорила Сабина, стараясь почувствовать глубокое удовлетворение и, напротив, чуть-чуть не плача, – в том-то и дело, ты не понимаешь, как я тебя люблю. Я тебя люблю за столько вещей и, помимо всего, за это сознание, что ты мой муж, что ты все, что у меня есть и будет, что нельзя же любить двоих в жизни!.. У меня к тебе такая глубокая, такая волшебная нежность от мысли, что ты для меня все-все...

Несколько раз в апреле и мае они одни, потихоньку, рядом, прячась от любопытства друзей, обедали в маленьких кафе Парижа, где носится низменный запах алкоголя и табака, и в ресторанах Булонского леса, полных людей и света.

Анри, довольный, хорошо ел и пил, гордился красотой жены и тем, что она пожелала быть с ним наедине. Сабина мечтала, ослепленная этими резкими ресторанными огнями, от которых душа точно мигает, разрываемая цыганской музыкой, которая, как хлыстом, рассеивала ее желания по вечернему ветру.

Пока ее муж курил и медленно глотал ликер и кофе, она сидела, облокотившись о перила террасы. Свежесть и сумерки опускались ей на плечи. Ночной час, с его жуткой жалобой, погружался на самое дно ее души жалким счастьем.

Вид вечера, серебряная роса выбивали ее из колеи, скрывали в ее воспоминании спокойствие ее дома, лик привычки. Она задумывалась и, мало-помалу, освобожденная от всякой совести, от всякой памяти, отдавалась неизвестности.

В нежной тени ночи она уже неясно различала неподвижные границы настоящего. Она уже ничего не видела, кроме своей души, откуда подымался к белой луне ужасающий крик о счастье; и Анри, спокойный подле нее, не замечал этого буйного лица, вытянутого волнением, как лихорадкой, и больного от избытка жизни...

После такой прогулки она, возвратившись в свою привычную комнату, понемногу создавала себе возле мужа подобие успокоения, какую-то нежную, цепкую и властную томность, которую он с доброй улыбкой усыплял на своей груди.

Однажды утром, глядя в окно на зеленый Париж, в котором она обитала, весь блестящий и смягченный от глубокого тумана, и слушая идущий из какого-то дальнего сада крик петуха – о, желтая солома! – г-жа де Фонтенэ ощущала нетерпеливое желание увидеть в эти последние майские дни весеннюю деревню.

Она попросила мужа отпустить или проводить ее в замок Брюйер, в Уазе – собственность г-жи де Фонтенэ, ее belle-mère, где та поселилась с Марией.

Анри охотно согласился. Он только что покончил с изысканиями и планами для

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
постройки лодки, в которой нуждался для научных морских поездок. Он проводит Сабину, отдохнет, целый день будет удить рыбу.

– Мы проживем там недели две, – сказал он, – и отлично, можем взять с собой Жерома, который обожает деревню.

– А Пьера? – спросила Сабина.

– Пьер не захочет. Он сейчас ссорится с этой актрисой, которую кто-то там любит или не любит. Он на нас дуется.

Сабина расцеловала Анри с блаженством. Это путешествие ее восхищало. Она в тот же вечер занялась отъездом: побежала купить себе большую шляпу из легких стружек, на которую набросила красные шелковые маки, и, надев ее, почувствовала в себе новую душу – деревенскую, простую и чувствительную, как в пасторалях.

В замок г-жи де Фонтенэ Сабина с мужем приехали к обеденному времени. Замок этот, построенный в XVII в., возвышался, изящный и крепкий.

Широкие его окна, разделенные на квадратики, глядели на круглые лужайки. Чаща незабудок, задушенная мшистыми листьями, блестела в траве, как маленькая волна с гребнем из голубых лепестков.

Немного в стороне низкий дом смиренного и трогательного вида. Там жила дворня. Глядя на него, вспоминалось какое-нибудь жилище г-жи де Варенс с его белыми ставнями, резным балконом и деревенской стеной, заросшей виноградом.

Сабина с самого приезда, закрыв глаза, с грустным безумием вдыхала запах, разлитый по замку: запах паркета, гладких и скользких плит, торжественных стульев, деревянных ларей и ковров. Глубокое безмолвие воздуха давало чувствовать медленное биение времени.

Она увиделась с Марией и матерью мужа, пообедала и легла спать, совсем разнеженная от вернувшегося ощущения ребячества и каникул.

Молодая женщина от всей души радовалась предстоящей жизни в замке, несмотря на неприятное общество матери мужа. Эта женщина жила только окружающим. У нее была поддельная страстность и мало ума.

Ее природа обрекала ее на домашние заботы и муку светских отношений. Красивая прежде, она еще оставалась красивой в пятьдесят лет. Прожив не думая и так же старясь, она была всю жизнь счастливой и добродетельной по рассеянности. Ее легкая доброта не внушала доверия; ум у нее был живой и рассеянный. Сочувствие ее удивляло, враждебности она не чувствовала. У нее не было набожности, но волнение, изредка ее посещавшее, сразу наводило ее на мысль о Боге; прекрасный закат или какая-нибудь страница Шатобриана служили ей для объяснения мироздания по Библии. Она любила сына и дочь, не как собственных детей, но как людей, с которыми долго прожила и в которых нуждалась.

Для своей *belle-fille* она была внимательной и чинной хозяйкой дома. Вне взаимных поклонов и любезностей они почти не считались друг с другом.

На следующее утро Сабина проснулась в комнате, полосатой от света, обитой прекрасной розовой тканью, зацелованной солнцем. Полотно еще пахло коноплей.

Она посмотрела на мебель, расставленную в комнате, коричневую, деревянную, разукрашенную, как на сцене, в комедиях Мольера. Старый цветистый шелк одного из кресел сохранил еще яркий и резкий блеск какого-нибудь деревенского праздника; глядя на него, вспоминалась пастушеская шляпа, волянка и грабли.

Сабине подали завтрак.

Веселый фарфор окончательно развлек ее. Старинная, несколько сельская посуда, белизна фарфоровой глины, расписанная маленькими пейзажами цвета румян или большими распустившимися тюльпанами. Сахарница, чашки и кофейник – все разрозненные, взятые наугад в каком-нибудь старом шкапу и напоминающие об одной из трапез бедного Руссо с его Терезой.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Весь день был прелестен. Сабина и Мария, гуляя, сияли и смеялись в воздухе, затканном серебром.

Анри с утра облекся в костюм туриста, в соломенной шляпе, с удочками за плечом, сеткой и руководством для ужения в руках ушел на реку, намереваясь удить по всем правилам науки.

Он потребовал для себя спокойствия, одиночества, молчания. Его будут видеть только в часы трапез. С довольными и блуждающими глазами, ничего не различая из очарований окружающей природы:

– Хорошо! – говорил он, – в деревне!

Его сестра и жена, счастливые встречей и возобновлением гибких, спутанных, обычных бесед, переходили от скамейки к скамейке, захватив с собой вышивание и книги; то ища, то избегая солнца, они то были под липой, где тысяча двигающихся пчел шумели вокруг них, как горячий ветер, то на лужайке, по которой перебежали зайцы, то в свежей беседке, заросшей плющом.

Мария рассказывала домашние происшествия, последние прочитанные книги, то, о чем думала с тех пор, как не виделась с Сабиной. Внимательная к окружающему, она по временам в точных и прочувствованных выражениях отмечала свойство местности или волнение, которое испытывала. После чего, казалось, вещи, о которых она говорила, ее уже больше не занимали, переставали присутствовать в ее жизни. Ее последовательный и ясный ум расправлялся с явлениями формулой.

Это минутами досаждало Сабине, смущало и разбивало в ней ту тайную подавленную силу, с которой она ощущала радость.

Мария говорила, а г-жа де Фонтенэ, опустив голову, вбирала в себя кочующую лихорадку нарождающегося лета, лихорадку, подобную ветру над бархатистыми растениями, берущую душу и распалаящую ее на тонкие, жаркие желанья.

К вечеру, как в полдень, опять прозвенел колокол, серебряный, фарфоровый монастырский звон, пляшущий по листве и призывающий к обеду.

Сабина, одетая во что-то легкое и кружева, стояла на крыльце с непокрытой головой. Сумеречная грусть, от которой вздрагивают деревья, стекала по ее волосам, по ее боязливой коже в широкую ее душу.

Она глядела на погасшее небо и на ласточек, пролетающих, не двигая крылами, накренившимися, как валкая лодка... Она думала обо всем, чего ждала от жизни и чего не было.

Все же, раз есть это нежное, алое небо, это тепло, пахнущее акацией, эта лихорадочность разнеженной земли – любовь и счастье тоже необходимы и возможны. Не ее слабая, болезненная любовь к Анри, а чудо неизбежной любви, которое привело бы к ней сейчас, в это мгновение, из глубины сумерек – незнакомца, который бы ей сказал: «Кто вы и кто я – безразлично, но весь этот лиловый вечер, вся весна, все мое желание и все наше мечтающее тело хотят, чтобы вы шли со мной...»

Мария позвала Сабину, ее ждали к обеду. Тогда она пошла к остальным, в столовую, пахнущую первой клубникой.

Затем в звонкой, низкой, почти пустой гостиной, вокруг стола, где между двумя горшками бегоний стояла желтая лужа света от лампы, потянулся в терпеливых играх вечер; выкрикивали карты. Сабина немножко засыпала, ее *belle-mère* обмахивалась веером, не столько из необходимости, сколько из желания взволновать вокруг воздух, привлечь на себя внимание.

Поднявшись к себе в комнату и растянувшись на кровати, с еще раскрытыми глазами и горячей свечой, Сабина думала, мечтала. Напротив, на стенке висел портрет юной женщины, в овальной раме. Внизу надпись:

Генриэтта-Анна де Рошгранд,

маркиза де Фонтенэ,

умершая в 1771 г.

Сабина глядела в это смеющееся лицо, розовое, под узкой, напудренной прической, на платье, обшитое галунами, на легкомысленные руки, перевитые гирляндой из роз.

Смех на этом искусственном и очаровательном лице был так ребячлив и непрерывен, что казалось, в какой бы тени ни пребывала отныне женщина, так смотревшая на мир, она все еще смеется этим смехом.

Сабина из самой глубины братственной души созерцала теперь это существо минувших дней, которое, обманывая природу румянами щек и пудрой волос, некогда имело о вселенной самое тонкое и вымышленное видение.

Как у смерти хватало смелости прикоснуться к этим тонким и поддельным женщинам, сплошь переряженным, бросавшим в любовь и страдание мнимые тела и комедийные волосы и принимавшим, в смертный час, тайну таинств с изящной и смеющейся любезностью.

Сабина отяжелела, глаза ее затуманились и горят. И вот уже чудится ей, что постель улыбается своим красным ртом и начинает:

«Сабина, по моему платью *soie dauphine*, в разводах, и по ленте, которая окружает мою шею, ты видишь, что я жила в шаловливый век Регента и Людовика Возлюбленного. Я обитала в Версале и нескольких замках на берегах Уазы.

Я любила наслаждение, все мы любили наслаждение, мужчины и женщины без страха и сопротивления уступали прелестному влечению, толкающему их друг к другу. Мы украшали природу и наряжали жилища для любви и удовольствия. Мы в течение всех часов нашей хрупкой жизни увешивали стенки, ширмы, и фонтаны в садах, и храмы в парках розами, вьющимися лентами, голубками и раковинами.

Раковина – основа и знамение нашего времени, и это легко понять, ибо воистину из раковины Афродиты вышла наша надушенная, влюбленная и божественная эпоха.

Мы вели, под звуки клавесина, медленные, изнемогающие танцы, горячившие нам глаза и изображавшие жадность, вздох и обмирание.

Мы любили рощи, листву, росу. Мы одинаково преуспевали в чувственных песенках и в смелых речах; наше непочтительное неверие было у нас на языке, как зеленый плод, коего горьким, кислым и острым вкусом мы наслаждались.

Мы любили любовь, это была единственная забота нашей жизни, у нас не было другой.

Мы не были легкомысленны. Мы были философами, энциклопедистами, геометрами, химиками или астрономами, смотря по любовникам. Мы помогали в работе Руссо и Вольтеру. Они писали нам мадригалы, а мы написали им несколько глав к их книгам.

Мы любили любовь, и некоторые из нас служили ей с темной дикостью. Вздохи бедной Леспинас заставляют еще на земле дрожать руки, перевортывающие страницы ее книги.

Мы оставили после себя миру тонкий, раздражающий и глубокий запах. Шелковые платья, облежавшие наши танцующие ноги, благородно расстилаются на диванах прекрасных жилищ. Эстампы, изображающие нас за плетением полевых гирлянд или освобождающими птиц из тростниковой клетки, безумят чувствительные души. Соломенные шляпы и листва на наших головах глубже ранили желание, чем обнаженные бедра древних нимф.

Ах! ты не знаешь, как мы смеялись и резвились в рощах, под звук волюнок Рамо, тогда как Ватто, грустный из-за всех нас, плакал от шума юбок из скрипучего шелка...»

Сабина проснулась поздно утром, удивленная стуком подъезжающей коляски.

Она выглянула в окно и, ничего не видя, наспех завернулась в халат и, придерживая его на груди, сошла вниз.

Это приехал Жером Эрель, она забыла, что его ждали сегодня утром.

Встрече с ним она обрадовалась, он приносил ей парижский воздух, воспоминание о ее доме. Но ей было неприятно за свою одежду: она испытывала нечто вроде стыда, смущения за это утреннее лицо, еще так близкое ко сну и вставанию.

Жером восхищал мать Анри, которой он изъяснял уступчивость молодого, скромного родственника, уважение и почитание титула.

Ожесточенная и шумная, она пользовалась этим, чтобы посвящать Жерома в мельчайшие неприятности своей жизни, характера, здоровья. Молодой человек, казалось, слушал ее не с родственным участием, которое было бы невоспитанным, но с откровенным и усидчивым вниманием. Это, главным образом, и раздражало Сабину, когда она о нем думала – эта его привычка не отличать удовольствия от скуки, ценного от посредственного. Руководствуясь каким-то сухим и стоическим тщеславием, он, казалось, все, что делал, считал достаточно интересным и приятным уже потому, что это делал он. Сабина подумала, что в поверхности вся его сущность: вежливость заменяет ему сердце, воспитание – героизм. Он бы легко пошел на смертельную опасность из-за самого обыденного пустяка. Качество цели его не занимало.

Все же она, на другой день, согласилась с Марией, что в деревне он приятен.

Во время прогулки по лесу с Сабиной он с внезапной доверчивостью стал говорить о себе приятно и просто.

В этот день, после завтрака, Анри стал настойчиво уговаривать двоюродного брата идти с ним на рыбную ловлю:

– Только вы не будете говорить, у рыбы тончайший слух, у меня в книге говорится...
– Он разглагольствовал теперь уже научно о вещи, к которой, в данную минуту, устремлены были все его желания.

– Я лучше останусь, – ответил Жером и покосился на Сабину, смеясь и подтрунивая над Анри. Сабина тоже засмеялась, это окончательно рассеяло смущение; у них теперь была общая тайна: добродушная насмешка над Анри.

«Этот мальчик может сделаться мне другом, – подумала молодая женщина, – и я тоже могу ему быть полезной».

Ее воскресаящая жизненность вселяла в нее жажду добра, дела, в котором она бы главенствовала. Ей хотелось испытать на Жероме свое умение, тем более, что он был одновременно и ясным, и скрытным и что требовалась хитрость для распознавания этого нрава.

Несколько соседних помещиков приезжали иногда с визитом к г-же де Фонтенэ, матери Анри; она устраивала им стремительный, бурный и дикий прием, похожий на похищение. Сабина, Мария и Жером, сидя немного поодаль, в каком-нибудь уголке гостиной, забавлялись торжественностью любезных движений и пустотой речей.

– Как люди счастливы, – говорила Сабина, – что у них такая любовь к пустякам, что они любят не только главное в жизни! Вот, например, г-жа де Плесси, некрасивая, стареющая, с хромоногой дочерью, которая вдобавок не выходит замуж, – у нее только и забот, что дворянская книга.

– Она думает, – сказал Жером, – что платья из жесткого шелка и накидки со стеклярусами – наивысший идеал красоты...

– В ее глупости и тщеславии есть героизм, – продолжала Сабина, – она бы из вежливости отдала визит зимой, несмотря на грипп. Об этих вещах она будет думать в лихорадке, в предсмертном поту. Для всех этих людей светская невоспитанность – больший ужас, чем все несправедливости природы: старость, болезнь, смерть. Они плачут и кричат лишь о том, о чем прилично кричать и плакать.

– В этом, – сказал Жером, – есть известное изящество...

– Да, – сказала Сабина, – но в этом меньше принуждения, чем природной бедности.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
А потом, – прибавила она буйно, словно желая наполнить весь воздух своей волей и вздохами, наконец, свободно, – я, я люблю природу, силу и жизнь, все, что кричит, что бросается и падает, всю человеческую невоспитанность, такую трогательную и чуткую.

– А я люблю порядок, – удостоверил Жером, – вы, – продолжал он тихонько, – вы – другое дело, вам лучше знать.

– Какой он вдруг милый, – воскликнула Сабина, глядя на Марию.

И они все вместе рассмеялись над непривычной лестью Жерома.

Вечером, вернувшись в свою комнату, чтобы переодеться к обеду после маленькой прогулки с Марией по июньскому солнцу, цвета подсолнечника, Сабина с удовольствием нашла у себя на столе письмо от Жерома Эреля.

Это было несколько детское, длинное письмо, безо всякой надобности, с почтительными, старательными и сложными фразами. Некоторые описания напоминали сентиментальное сочинение. И письмо это оканчивалось разом, обрывалось двусмысленно и умело.

Оно обрадовало Сабину, любившую чувствовать свою значительность; это делало ее веселой и физически гордой.

Молодая женщина весело оделась и, закалывая перед зеркалом волосы, наслаждалась горячим изображением своей юности и красоты.

В гостиную она вошла с намеренно-рассеянным видом и поблагодарила Жерома небрежно и все же неявно для остальных.

«Как странно! – подумала она. – Мне хорошо только, когда тайна и приключение, иначе я робею, дружба меня стесняет, даже Жером до сих пор меня смущал...»

Она радовалась этой маленькой победе, одержанной над его мрачным и замкнутым умом. И это удовлетворение рассыпалось в смех, в вспышках взгляда, в учащенном внимании к Анри, к которому ее дружески приближала всякая радость.

После обеда, во время карточной игры, Сабина постоянно чувствовала на себе бешеный взгляд молодого человека, эти серые глаза, затемненные душой.

Она ощущала его, не видя, всем своим существом и сердцем. Это ее восхищало, и, оживленная и свободная, она отвечала на эти настоящие счастливой развязностью, уверенными, властно-дружескими движениями.

– Жером, – внезапно говорила она, кладя ему руку на руку, – я запрещаю вам бросать эту карту, это слишком глупо, возьмите ее назад.

И он, удивленный, смущенный, смеясь под конец, глядел ей прямо в ее прекрасное, радостное лицо.

Дни проходили, сокращенные постоянными встречами, разгоряченные молчаливым толкованием слов и взглядов. Сабина была довольна; кроме этого, она ничего не знала. Она говорила себе: «Этот мальчик в меня влюблен» – и эти слова окружали ее словно солнечным дождем, за которым ничего уже не было видно.

Она жила стремительно: одеваясь, выходя, смеясь, все начиная сызнова.

Вечером, когда Жером садился за рояль и пел, она чувствовала такую радость, что боялась, как бы это не отразилось на ее лице, и пересаживалась спиной к свету.

Когда она говорила ему: «Спойте это», а Мария: «Нет, вот это», Сабина рассматривала ее с простодушным и гневным удивлением, как если бы молодая девушка присвоила себе право, принадлежащее отныне только ей.

Однажды вечером он пел, обращая к ней улыбку, один из этих разнеживающих романсов, где звуки, смешиваясь со стихами, создают пейзажи и счастье.

Сабина, в смущении, смотрела на него с жадностью.

Нежные веки молодой женщины и ее улыбка трепетали, как звезды в ночи.

Любопытная и своевольная, она наблюдала лицо молодого человека, черный и белый блеск зрачков, белокурые волосы с розовыми отсветами, – и потом закрывала глаза, и душа ее следовала за другой душой до самого дна поющего горла.

Но с такой поразительностью она редко ощущала, обыкновенно она была легкомысленной и тщеславной; самым определенным из ее занятий было, проснувшись ночью, пересчитывать года молодого человека и собственные – они были ровесники – и радоваться, что столько лет им еще быть друг для друга совершенно теми же: ей – красивой и доброй, ему – предупредительным, избалованным, застенчивым и благодарным.

Хотя г-жа де Фонтенэ и не созналась своей belle-soeur во внимании Жерома, ей не сделалось неприятно, когда та его заметила и ей о нем сказала, думая открыть Сабине тайну:

– Я уверена, что он начинает тобой увлекаться, обрати на него внимание.

– Ты думаешь, вот безумие! – ответила Сабина.

И хотя она и защищалась с виду, но любопытство Марии ее радовало, она любила все, что усиливало ее нарождающееся чувство. И когда Мария, впоследствии, перестала наблюдать за Жеромом и говорить об этом, Сабине стало досадно.

Ни о чем не думая, она и не думала о возвращении в Париж, когда однажды утром Анри объявил ей, что его зовут обратно и что они уедут из Брюйер на следующий день.

Мысль об отъезде их всех опечалила. Решено было, что Мария с матерью тоже скоро вернуться в Париж и что Жером пока погостит у них еще несколько дней.

Но веселье исчезло, никто не ценил остающихся минут.

– Как же мы проведем наш последний вечер? – говорил Анри, блуждая в день отъезда вместе с другими по саду. Он держал сестру под руку и тяжело висел на ней.

– Я устала и остаюсь здесь, – сказала Сабина, указывая на деревянную скамейку, прислоненную к старому, заросшему плющом, орешнику.

– Тогда я тоже остаюсь, – вздохнул Анри, огорченный отъездом, и, увлекая за собой сестру, растянулся на траве, по другую сторону аллеи.

– Я тоже, – сказал Жером, опускаясь возле лежащего Анри.

Сабина с той стороны смотрела на них.

Анри, хотя и огорченный предстоящим отъездом, – он привыкал к месту, как только в нем поселялся, – все же спокойно наслаждался прекрасной тенистой листвой; он брал от воздуха не благоухающую нежность, шедшую к нему от ближней корзины с резедой, но здоровящий кислород.

Он говорил по-детски весело:

– Прекрасный вечер, кажется, ветер немного меняется...

Он не думал, что движения природы способны давать благоразумным людям нечто другое, чем жизнь и здоровье.

Жером сидел на траве, напротив Сабины; приподнятые колени немного закрывали ему подбородок. От времени до времени он подносил к губам стебелек и кусал его. Было удивительно жарко. Жером жаловался на жару. У него был тот угнетенный и оживленный вид, то светлое, розовое и легкое лицо, которое летом бывает в юности.

Так как он сидел ниже Сабины, она немного видела его руку в рукаве полотняной рубашки, с твердыми, отстающими манжетами. Белая глянцеви́тая рука, пальцы

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
тонкие, несколько широкие в нижних суставах.

Она говорила и смеялась со всеми ними. Глядя на Жерома, она испытывала удовлетворение, уверенная в своей власти над ним, радуясь господству над этим восприимчивым и юным умом.

Ее умиляло то, что он этим прекрасным спадающим вечером сердится на жару, и то, как он, сражаясь с комарами, отбрасывает руками воздух; эти движения сдвигали его шляпу, и она соскальзывала назад. Сабина находила его очаровательным, с его детским раздражением, и минутами они глядели друг на друга без особенной глубины и пронзительности, но с полной и ясной страстью.

– Значит, – вздыхал Анри, который тем более жаловался, что не чувствовал большого огорчения, – мы после обеда садимся в поезд и к ночи будем в Париже, – вот весело! И еще эта светская жизнь; Сабина будет отрывать меня от занятий, чтобы таскать по балам.

– Попробуйте сказать, – перебила Сабина, у которой страсть к чужой точности была развита до крайности, – попробуйте сказать, что я вас часто заставляю ходить по балам, я ложусь в десять... Вот ложь!

И пока она так, шутя, ссорилась, она думала о другом своем, – новом сердце, менее жаждущем покоя, о новом взгляде своем на мир.

Мария молча смотрела в сумерки.

– Ах, Сабина, – прошептала она, – какое розовое небо! Эти полоски, как вычесанная шерсть, точно птичьи лапы тащат все это розовое!

– Да, – ответила ее *belle-soeur*, чьи глаза, жадные на горизонт, слегка улыбались, – глядя на это небо, представляешь себе Восток, жаждешь какой-нибудь сказочной местности, где солнце над песками, как апельсин, истекающий соком.

– Слышите, синица? – спросил Жером. – Она точно острит клюв о сочную, надтреснутую сливу.

– Правда, – ответила Сабина, задумавшись.

Тень опускалась, она уже не видела руки Жерома, лежащей на траве.

Он подошел и сел рядом с ней, говоря, что устал от лужайки.

Он зажег папиросу.

При свете восковой спички она увидела эту руку с восхитительной зеленовато-голубой жилкой, приведшей ее в смущение, когда она представила себе драгоценную струю крови.

И тем временем, как молодой человек, с лицом, запрокинутым в вечер, тихонько напевал, Сабина, отговорившись свежестью, встала, ушла, чтобы только не схватить этой руки, опершейся рядом с ней о скамейку, и не прижать ее без памяти к лицу.

IV

Никогда еще г-жа де Фонтенэ не была такой деятельной, как со своего возвращения в Париж.

Пьер Баланс смеялся над ней за ее привычку ежеминутно повторять: «Господи, сколько у меня дела на завтра! Никогда не хватит времени...»

Все ее столь спешные дела заключались в поездках к портнихе, где она заказывала платья по старинным портретам, и к антиквариям, где не могла не поддаться искушению купить какую-нибудь саксонскую вазу или кусок старого цветастого шелка.

Жером Эрель питал тонкое, женское пристрастие к эпохе Людовика XV, круглой и усыпанной букетами.

«Когда он вернется из Брюйер, он найдет у меня эти новые безделушки, – это его

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
позабавит», – думала Сабина.

За пять дней разлуки она получила от него два письма: одно длинное, почтительное и сдержанное, другое, с описаниями природы, напоминающими нарисованную картинку и сентиментальными, как херувим.

Она, улыбаясь, вспомнила, что, не считая этих вежливых писем и учащенных любезностей, он еще ничем не сказал ей о своей любви. «Бедный, – вздыхала она, – он не решается».

Она предвидела очаровательное парижское лето с ним, удивленным и счастливым ее дружбой, и потом долгие совместные дни в Дофинэ, в имении Анри, где они жили с июля до ноября.

«Деревня ему идет», – думала она, воскрешая в памяти всю повадку и лицо Жерома, его романтические волосы, его серые глаза, цвета легкого тумана, холодные и зачастую жесткие, где мысль и выражение медленно поднимались со дна замкнутой, тайной души.

Она находила в нем сходство с Адольфом Бенжамена Констана, с Вертером, с любовником Манон, и так простодушно переносила на него любовь к этим героям, что он представлялся ей действительно исполненным их лихорадки и грусти.

В видимой жизни молодой женщины ничто не изменилось.

Она была привязана к Анри. Она не думала, что поступает дурно, занимаясь Жеромом, это было не больше, чем если бы она внезапно пристрастилась к живописи и часто посещала залы Лувра.

И потом, она не задумывалась, она жила в легком волнении, в ощущении растущей жизни и бесконечности.

Более общая непринужденность дружески приближала ее к Пьеру Балансу. Ей понравилось говорить с ним. Она восторгалась его ясными, подчас суховатыми мыслями, как бы зажатыми между его узких глаз.

Но она сравнивала его и всех остальных с Жеромом, и все казались ей настолько меньше ее двоюродного брата, что она не могла не верить, что они от этого страдают, что это отнимает у них все возможности радости и любви. Мысль, что у Пьера была любовницей актриса, которая его любила, ослабляла ее и печалила.

Но каковы бы ни были ее удовлетворенность и сладкая беззаботность, все же г-жу де Фонтенэ подчас, после чтения прекрасной книги или возвращения из театра, что-то отрывало от Жерома.

Она чувствовала себя тогда созданной для других земель, товариществ по храбрости и мятежу этим безумцам, пронзающим историю копьем и всю земную тень – одним-единственным желанием. И ей хотелось за раз и доктора Фауста, юного и таинственного, в сумерках, на маленькой площади его городка, и вишен Флоренции...

Но любопытство, в которое ввергал ее характер Жерома, быстро и резко возвращало ее к приключению, при всей своей незначительности, усложнившемуся неизвестностью.

Молодой человек вел себя у г-жи де Фонтенэ по-прежнему; только большая свобода в речах и общая непринужденность свидетельствовали о том, что он чувствует себя здесь желанным и нужным и радуется этому.

– У меня Пьер, у тебя Жером, – говорил Анри жене, когда та его спрашивала, что он сегодня собирается делать. – Предоставляю тебе музыку! О, с наслаждением! – добавлял он, зажимая уши уже от одного вида вечно раскрытого рояля.

Жерома, казалось, иногда смущало добродушие Анри и настойчивость Сабины, угovarивавших его остаться обедать, тогда он отказывался с редким упорством.

Г-жа де Фонтенэ хотя и видела в этом благоразумие, обычное для Жерома, но все же раздражалась, не находя нужным прибегать к осторожности в такой невинной связи и не понимая, как можно отказываться от самого приятного.

Она не встречалась с двоюродным братом вне присутствия Анри, Пьера или Марии, только что вернувшейся в Париж; но, не видясь с ним отдельно, Г-жа де Фонтенэ тем не менее чувствовала по полному доверию Жерома, по властности, с которой он советовал и отсоветовал ей то или иное, по кокетству, наконец, с которым жаловался на малейшую неприятность, – что он в ней нуждается и что он ее любит.

Временами ей бы хотелось на этом лице большей страстности, большей свободы и щедрости в этой душе; но в другие минуты внезапная бледность молодого человека убеждала ее в энергии, глубокой и открытой.

Даже Анри, мало наблюдательный в жизни, однажды сказал:

«Как раз эти характеры, осторожные и терпеливые, и являются самыми упорными и лучше всего хотят то, чего хотят». «Вот именно», – подумала тогда Сабина. Она справилась у мужа о жизни Жерома в Париже, трудолюбивой жизни, где не было места любви; и молодая женщина улыбнулась до самой глубины успокоенного сердца.

Жером Эрель, представленный Г-жой и М-ль де Фонтенэ нескольким подругам, встречался с ними в домах, где они бывали вечером, проводил с ними время и уходил тотчас же после их ухода. Он приглядывался к туалету Сабины, хвалил ее, смотрел ей вслед и часто упрекал ее за смех с другими мужчинами.

– Вы любите, – говорил он ей, – когда вас осматривают с головы до ног, говорят с вами почти у рта и грубо объявляют вам, что вы – хорошенькая.

– Да, милый, – признавалась она, – я это обожаю.

И она спорила обо всем. Спорила о литературе, о политике, о вкусах. Общим между ними была лишь любовь к музыке и садам.

Вечера у Г-жи де Фонтенэ, протекавшие прежде в мирных беседах, теперь горели и кричали. Пьер Баланс бросал в них другое настроение от связи, которой начинал тяготиться, и раздражительную страстность своих мнений. Он увлекал Анри в политику, советовал ему заняться кандидатурой, чертил ему планы и терял терпение, так как Г. де Фонтенэ никогда не спешил.

Сабина хорошо понимала Пьера. На то, что он говорил, она отвечала: «О, да!» Казалось, что она уже давно несла в себе формулы, употребляемые Пьером, и что слышать их для нее – сладкое освобождение.

М-ль де Фонтенэ вздыхала; ей бы хотелось, чтобы разговоры были книгами и чтобы можно было, оставив их раскрытыми на коленях, медленно следить за опасными местами. Жером, которого держали в отдалении от этих бесед и отталкивали, как только он в них вмешивался, не сердился, сохраняя свое любезное спокойствие, ибо хорошо знал, что уже обрел то, чего другие ищут в жизни: довольство самим собой.

V

Жером Эрель, по совету Г-жи де Фонтенэ и ободряемый композитором Евгением Марсаном, его учителем, принялся за оперную партитуру, надеясь на исполнение ее по частям в концертах.

Однажды он попросил Сабину прийти к нему выслушать его произведение в присутствии Марсана.

Г-жа де Фонтенэ согласилась. Она отправилась на его квартиру, находившуюся в одном из переулков квартала Пасси и ей неизвестную.

Она шла, охваченная радостным волнением и легким недомоганием, не доверяя своей мнительности и страшась подробностей скромного и стесненного существования.

Подходя к дому, она, подняв голову, увидела окна Жерома, совсем наверху, в потоке зеленой листвы. Это ей понравилось. Она стала подниматься по каменной лестнице и уже на первом этаже встретила с молодым человеком, шедшим ей навстречу. Легкая одышка от подъема, странность того, что она здесь, вид Жерома, чувство, ее переполнявшее, – все это вылилось в легкую лихорадку, сквозь которую эта лестница, ее спутник и смута собственного сердца показались ей смешными, романтическими и порочными. В эти несколько мгновений она пережила все, что

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru когда-либо читала о любовном дерзновении женщины: она мысленно видела перед глазами лестницу в «Сафо» и ту, по которой г-жа Бовари, в Руане, отправлялась к молодому клерку.

Войдя в квартиру Жерома, она была одновременно очарована знакомством с композитором Марсаном, которым восхищалась, и комнатой – сияющей и изысканной.

Из окон, наполовину завешенных легким шелком, оттенка красной смородины, видны были старинные дома с надписями, запущенные сады, сильно заросшие кустарником, высокие дымящие фабрики и Париж – нарождающийся, расстилающийся, растущий вдаль, с крышами из голубого пара.

Вся комната была в цветах: розовый водосбор и веточки вишни, упирающиеся в стены, обитые холстом, цвета мелкого песка. Главное место в комнате занимал рояль, на стене висели акварели и люгня белой слоновой кости, напоминающей фарфор.

Жером с гордостью заметил удивление и восхищение г-жи Фонтенэ.

Были приготовлены чай и печенье. Сели за стол. Никто уже не думал о музыке. Марсан заговорил о живописи, и молодая женщина, которую меньше смущало спорить о ней с композитором, чем с художником, врезалась в разговор, смелая и упрямая, – ибо считалась только с знатоками своего дела.

Жером радовался маленькой победе, одержанной его тщеславию. Он был любезен и гостеприимен. Беседуя с Марсаном, Сабина внезапно заметила, что письмо ее, с извещением о времени прихода, так и осталось на бюро молодого человека. Ей это не понравилось... «Он мог бы его спрятать, – подумала она сначала, – не бросать его так. Он его хранит, – продолжала она мысленно, – он мог бы его разорвать, ведь это такой пустяк, он не хочет его рвать...»

Затем все-таки занялись партитурой и роялем.

Сабина, задев низкую этажерку, где в беспорядке лежали книги, нечаянно уронила одну и, нагнувшись, чтоб поставить ее на место, заметила, что это был том запрещенных стихов Бодлера.

Это оскорбило ее пронзительно и сладко.

Он перелистывал, он читал эту книгу! Каким бы целомудренным и бесчувственным он ни казался, он-таки искал волнений других людей! И чистое чувство к нему Сабины сладостно разрывалось, воспалялось жаром и кровью, как царапина.

Сидя возле рояля, между Жеромом и Марсаном, она, менее внимательная, чем думалось, слушала, хвалила; но из глубины своей жизни она мысленно обращалась к юноше, говорила ему прямо в сердце: «Да, да, у вас прелестное дарование, да, да, но не в этом дело, не за это я вас люблю.. Не только в этом, – вы во всем прекрасней, сильнее, богаче всех. Ваш дар – только одно мгновение вашей чудесной гармонии.. Вы существуете, и я вас встретила, – какое счастье!.. Ах, вы отлично видите, как все в вас сейчас мне делает больно».

Когда пришло время идти домой, г-жа де Фонтенэ, прощаясь с Евгением Марсаном, горячо и почтительно просила его бывать и, обернувшись к Жерому, рассталась с ним притворно-равнодушно, как всегда при третьем лице, и, как всегда, этим неловким притворством выдавая все свое волнение.

Пропуская ее в двери, он внезапно вырвал у нее букетик гиацинтов, бывший у нее за поясом, когда она пришла, и который она сейчас держала в руке, весь измятый. И они обменялись быстрым взглядом, где у Сабины значился все тот же неустанный вопрос, а у Жерома – все та же намеренная, резкая, ясная тайна.

Воспоминание о жилище молодого человека не покидало ее несколько дней, она в воображении видела себя получающей от него записки – его мольбу; тогда она вечером поднималась к нему по этой лестнице, такой волнующей, и находила его в слезах, с глазами, наконец, открывшими тайну... Они бы плакали вместе. О чем? Она была бы ему страстной сестрой. В маленькой цветистой саксонской люстре горели бы свечи; волосы бы лежали у нее по плечам, и была бы сладкая романтическая ночь, горячая и чистая, – ибо она ничего не видела за этими слезами.

Но уже новая печаль насторожилась в ней. Она теперь удивлялась некоторым словам Жерома. Однажды он сказал: «Когда я женюсь, я брошу музыку, поеду в плавание, займусь охотой».

«Он с ума сходит! О чем он думает, зачем он меня дразнит?» – думала она.

Все же, несмотря на известную сдержанность, известную мнительность своего поведения, молодой человек продолжал оказывать Сабине неподвижное и упорное внимание, которое она принимала за любовь.

Но она уже чувствовала усталость, мысли ее путались, голова кружилась. Она отлично сознавала, что, невзирая на его видимую преданность, не он, а она изо всех сил души тянет к себе другую волю.. Согнувшись в страшном напряжении, она как на веревке тянула к себе неподвижное сердце этого человека.

С некоторых пор она со странной ясностью видела нрав Жерома; она знала его тщеславие, упрямую небрежность, сдержанный и благовоспитанный гнев, страсть к самому себе. Она ревниво хранила тайну и радовалась, что только она одна его так знает.

Она умилялась его слабостями, как иногда – его кашлем, по вечерам, среди табачного дыма, который ему вредил; она вздрагивала от этого кашля, как если бы увидела кровь своего друга, заглянула в самую глубину его плоти.

Теперь Сабина изумлялась тому, что она именно его любит. Она не испытывала того резкого зова рока, который – она читала в книгах – уверенно ведет друг к другу людей; она знала Жерома прежде, говорила с ним, почти жила с ним, и ничто в нем ее не волновало, не влекло; и даже потом, когда он начал ей нравиться, это случилось просто, без тревоги и крайностей.

Она медленно вовлекалась в свое чувство к нему, в его чувство к ней.

Сабина вспоминала свою первую ревность. Находясь с ним однажды ночью на каком-то музыкальном собрании и завидев его смеющимся посреди нескольких женщин, ей захотелось схватить его за руку, сказать ему: «Идите отсюда, идите, я вас увожу, вы ничей, вы мой». С той ночи она ясно поняла, что лучше бы ей не любить этого мальчика – слишком юного, слишком мягкого, слишком любящего приключения.

Но все же она яростно принялась за него, пуская в ход всю свою военную хитрость.

Ах, какое удивление и смирение испытывала она при сознании, что это лицо, на которое она раньше смотрела с равнодушием, сделалось для нее теперь страшным и таинственным, как смерть; что ей на него теперь труднее смотреть в упор, чем на солнце, что оно ей разнообразнее и дороже всех ликов природы.

И, закрыв глаза, Сабина со смертельной пронзительностью вспоминала сумрачную нежность его ресниц, выгиб ноздрей, хрупких и своенравных.

Она даже не радовалась с ним сознанию своей красоты, которое в ее жизни было самым дорогим ее волнением; она при нем не была красива; она это знала, – до того ее лицо исказилось от тревожной, неустанной бдительности, от подозрений и зоркой вражды.

Не объяснившись с ним ни разу, она колебалась между радостью и страхом, смущенная противоречивым поведением молодого человека, лицом его и словами. Она его не понимала.

Она думала, что его дружба к Анри де Фонтенэ внушает ему эту сдержанность, но видела также, что чувство долга, любовь к порядку и совесть – только границы и природные очертания его страстей.

VI

Июль близился к концу, и г. и г-жа де Фонтенэ занялись сборами в Дофинэ. Сабина грустно бродила по дому, который ей предстояло покинуть. Она боялась разлуки с Жеромом – он должен был приехать только несколько времени спустя – и уезжать, не услышав, что он ее любит.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Этот вечер, канун их отъезда, Г. и Г-жа де Фонтенэ проводили с несколькими друзьями. Между ними были Жером Эрель и Пьер Баланс.

Композитор Марсан впервые обедал у Сабины, его чествовали. Он был суров и резок, с лицом, безобразие которого он, казалось, выбрал сам.

Вокруг него удивлялись, преувеличенно восхищались тем, что он читал последние знаменитые книги и посетил музей Флоренции. Казалось, что на его необразованность рассчитывали так же, как на его дарование.

Были еще: художник Луи Лоран, который молчал, Г-жа д'Омон, светская подруга Сабины, муж ее Рене д'Омон, пользовавшийся тем, что жена к нему равнодушна, и был еще один офицер – Луи де Розэ, двоюродный брат Сабины, сосредоточенный и молчаливый. Это был умный и остроумный молодой человек, но полный предрассудков своей касты и блестящий только в общих местах, вне обмена мнений, спора и возражений.

Сидели за столом. Сабина, занятая разговором с Марсаном и Г. д'Омон, ее соседями, смутно ощущала, по своей тайной грусти, что скоро случится нечто, чего ее рассудок не сможет вынести: разлука с Жеромом.

Поглядывая от времени до времени на молодого человека, она заметила, что сидящая рядом с ним Г-жа д'Омон – хорошенькая.

Она замечала это постепенно по разочарованию, с которым сознавала, что не может найти у нее этих мелких недостатков, успокаивающих ревность, и о которых потом говоришь свободно и радостно, не возбуждая подозрений в пристрастности оценки.

Сабина отдала бы день своей жизни за то, чтобы эта женщина сделалась безобразной, тут, сейчас же, и приходила в ужас от ее улыбки – этих губ, напоминающих теплую росу, и зубов, как бы вырезанных из миндаля, в тени белокурых, жестких, пушистых волос, вьющихся вокруг ее головы, как длинная нить кукурузы.

Вечер проходил. В светлой гостиной, полной цветов, говорилось о том, о сем. Все было нежны и откровенны, как всегда летом и накануне отъезда.

Жером Эрель сел за рояль и запел. Композитор Марсан, сидевший рядом с ним, слушал, с видом знатока, как бы хватая музыку на лету, забирая ее всю себе и взвешивая.

Внимательное лицо Пьера Баланса выражало молчаливое борение, самоукрощение.

Другая группа – там, в табачном дыму, – болтала с Г-жой д'Омон, которая смеялась, запрокинув голову, разнуждав лицо и душу.

Сабина, одна на маленьком диване, раскинув руки и слегка на них приподнявшись, слушала и смотрела на Жерома. Опьяненная, она улыбалась. Но это, правда, не была улыбка, это был рот, страдальчески обнаживший зубы...

Жером пел, как дети кричат: всей силой, всей жизнью, как бы изнемогая от восторга; и было странно-трогательно наблюдать в этом хрупком, подвижном существе подобный мятеж, подобную страстность, от которой он, казалось, сейчас умрет.

Ночь шла. Сабина видела, что гости уходят и что Жером собирается с ними.

Анри де Фонтенэ, у которого весь вечер болела голова, ушел спать.

Тогда Сабина, провожая в переднюю Г-жу д'Омон, – быстрым шепотом, с резкой решимостью, с чувством неумолимой неизбежности приказала Жерому остаться и ждать ее в гостиной.

Дом опустел и затих. Сабина вошла в гостиную, где ждал Жером. Здесь еще стояло страстное тепло музыкального вечера. Окна были раскрыты. Пламя свечей мигало и гнулось на ветру. Розы тяжело благоухали.

Звонкие часы рассеивали время, таинственное время ночи.

Сабина уже не знала, что хотела сказать Жерому; ей было странно и стыдно стоять с ним здесь, с прической, слегка разошедшейся и спускающейся на обнаженную шею, в платье из кружев и шелка, где путались ее ноги.

Она чувствовала себя смущенной и жалкой. Жером тоже был встревожен и бледен. Он сказал, слегка дрожа:

– Сабина, вам бы нужно лечь, уже поздно, вы завтра едете.

Затем провел рукой по лбу, словно желая вырвать какую-то тяжкую мысль, какую-то боль; Сабине показалось, что он плачет.

Тогда она прижала его к себе с ужасающей нежностью, и они на мгновение застыли, как бы охваченные буйным сном, пока Сабина, не открывая глаз, не почувствовала, что объятия юноши расплетаются. И без взора, без слова, обессиленные, ничего не понимая друг в друге, они медленно разошлись...

На следующий день Сабина, уже в полном сознании, вспоминала порыв, толкнувший ее к Жерому. Порыв столь дикий, исполненный столь темной страсти, что она даже не ощутила наслаждения.

Там, на груди этого ребенка, она искала только его слабую, ускользающую душу; прижавшись к нему, ей только хотелось привязать его к себе, взять и никому не отдать. Она тогда любила его суровой, мужественной и материнской нежностью и по болезненности своего усилия поняла, что не будет у нее с ним уверенности и покоя.

Ах, как можно было эти краткие чувственные вспышки называть любовью! какое изумление! С какой ясностью она предчувствовала теперь, что нет в страсти ни наслаждения, ни нежности. Она вступила в коварный поединок, где, несмотря на раны, ей, именно ей, придется упорствовать и хотеть. Ей ежедневно придется отвоевывать это изменчивое существо, этот гибкий, рассеянный ум, бегущий, в часы опасности, от прямых вопросов, как тело – от объятия: полуотталкивая, полускользя.

Она поняла, что никогда ей не пережить с этим другом минут освобожденности, самозабвения. Самое большое желание ее и самая простодушная надежда были: прижать его когда-нибудь, сонного, к себе и, крепко держа его, пользуясь его сном, обрести, наконец, господство и покой.

Она еще думала об этом вечере, в вагоне, глядя в окно на убегающие домики печальных окраин Парижа.

Она страдала от мужа, рассеянного и веселого, потом заснула тем мертвым и зорким сном, который не освобождает от мучений, но придает им, в сновидении, более неясные и далекие лики.

Утром она проснулась, совсем расстроенная; она старалась не просыпаться, никогда больше не проснуться, чтобы только не было этой мысли, уже яснейшей, встающей в ее сознании, как этот серый рассвет на дождливом небе. Но остановка поезда, громкие голоса на воле, хлопанье дверей и поток сырого воздуха предупредили ее о приезде. Она оделась, вышла с помощью Анри из вагона и, пройдя через вокзал, очутилась на маленькой площади, где стояли несколько колясок.

Несколько розовых кустов, хрупких и зябких, прижались к зеленой изгороди и дрожали. Горы вдали, слишком приближенные воздухом, были суровы и печальны.

Сабина на этот раз без радости увидела живую землю Дофинэ, пропитанную глухими, еле заметными родниками, о которых угадывалось только по сырости длинных трав.

Эти неровные, холмистые дороги, эти вздутые травянистые лужайки, эти замки, воткнутые в углубления земли, стесняли ее усталую мысль, жаждущую чистых далей. Она сразу увидела, сколько сожалений, нетерпения и страсти ей придется нести с собой по этим дорогам, под этой горькой листвой орешников.

Придя в свою комнату, она облокотилась о подоконник, вспомнила благодность своего однообразного прошлого, прежние радости, все, что в ней еще было детского

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
прошлым летом, – уже навсегда потерянное – ибо яд отныне потечет через все будущее.

Она смотрела на дождь.

Она слушала, как падают на маленький цинковый выступ перед окном отдельные капли дождя.

VII

Анри де Фонтенэ, с помощью только что приехавшего Пьера Баланса, готовился в депутаты обитаемой им части Дофинэ. Пьер уже отказался для себя от этой карьеры. Он намеревался будущей зимой основать социалистический журнал и читать лекции. Красноречивый и горячий, он указывал другу умелые ходы, открывал ему длинными вечерами все, что знал о сердце провинции, и, убедив его по некоторым точным осязательным пунктам, где не требовалось огня, – ибо Анри колебался между диктатурой и умеренным радикализмом, – увлекал его к мэрам и префектам, где говорилось о земледельческих союзах и будущем благоденствии.

Эта избирательная кампания казалась сельской и семейной, она протекала перед виноградником, где-нибудь на меже, на школьном празднике, где Г. де Фонтенэ увенчивал детей венком из зеленой бумаги и произносил маленькие речи.

Благодарность, получаемая им за снабжение какой-то общины пожарной трубой, сообщала ему чувство благородного смущения и собственного великодушия.

Г-жа де Фонтенэ была с Марией.

После первых пустых, отчаянных дней молодая женщина потихоньку успокоилась.

Весь сад истекал мягкой смолой, глухими напевами и запахом меда.

В аллеях – потоки жары, потоки солнца, потоки пьяных кочующих мух, низринутых с неба.

Благоухание некоторых цветов – гвоздики и туберозы – было местами в саду так сильно, что Сабина резко останавливалась от присутствия запаха, как бы втянутая в его напряженный круг; она не смела двинуться; ее поистине волновало стоять посредине этого царства, в этом хороводе благоуханий, как бы в самом сердце огромной роши, ибо – в какую сторону ни повернуться – всюду все благоухало.

Усевшись в самой листве, успокоенная, подняв голову, она смотрела жаркими часами, как скользит бесконечность по голубым стенам воображаемого неба.

М-ль де Фонтенэ, которой Сабина ничего не говорила о своей тревоге, приписывала эти долгие молчания неопределенному томлению и тайным радостям этой трудной души.

И Сабине заново снился весь ее сон.

Жером написал ей два письма, подобные прежним. Он извещал ее, что собирается приехать в последних числах августа.

Она говорила себе: «Раз он приезжает, приезжает, несмотря на наше прощание, значит, он любит меня сильнее и уже окончательно».

Возвращаясь тогда к ребяческим заботам, означавшим у нее затишье после сильных бурь, она беспокоилась о том, что он только на год старше. Через десять лет уже я буду старой, вздыхала она; но это ничего, добавляла ей буйная душа, страсть прекраснее красоты.

Я когда-нибудь буду, как мужчины, которым не надо быть красивыми, чтобы их любили. И какой светлый взгляд шестнадцатилетней девушки сравнится с моим разнузданным сердцем, с моими глазами, где боль и бешенство!

Это они мне будут завидовать, это они будут плакать, ибо во мне живет божественная буря, делающая многообразной и различной, подобной богине, у которой было три лица и все глаза которой горели...

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
В первые дни приезда Жером Эрель ни разу не очутился наедине с Г-жой де Фонтенэ.

Тем не менее она видела, что он, в ее присутствии, беспокоен и смущен, и мгновениями ловила на себе его нерешительный, задумчивый взгляд, как если бы он хотел ей что-то сказать.

К ней возвращалось чувство удовлетворенности, улучшившее ее настроение. Она отдыхала, не торопилась со встречей.

В этот день, часам к четырем, после долгой всеобщей беседы в тростниковых креслах просторной библиотеки, Анри предложил пройтись, чтобы стряхнуть с себя тяжелый послеобеденный отдых.

Сабине нужно было писать письма, ей нельзя было идти; Жером не любил их длинных прогулок, он бы пошел, но только ненадолго, он осведомлялся о том, сколько времени займет прогулка. Над ним стали смеяться и пошли без него.

Г-жа де Фонтенэ встала, чтобы идти к себе в комнату, и не уходила, неотразимо притянутая присутствием Жерома, тяжелым грузом лежавшим на ее душе и приковывавшим ее к себе.

Они были одни.

Она сделала вид, что ищет на столе, среди газет, какой-то листок, якобы потерянный. Она повторила: «Куда же я его положила?» – и сдвигала газеты. Потом добавила: «Ничего, это не важно», чувствуя, что это ложное усердие становится неправдоподобным.

Она сделала движение к выходу.

Жером тихонько ее позвал. После некоторого молчания он сказал:

– Можете ли вы остаться на минутку? Можно мне говорить с вами?

Она отвечала:

– Да, что вы хотите мне сказать?

Он молчал.

Она знала, что он сейчас скажет. Он скажет:

– Сабина, если вы меня любите, едемте со мной. Бросьте все, идемте.

И она отвечает ему:

– Вы же знаете, что я готова.

Или он скажет:

– Вы умнее всех, я рядом с вами почти ничто, – что я вам?

И она ответит:

– Вы мне страшнее смерти...

Она ждала, чтобы он заговорил.

Она сидела тихая, руки ее внимательно лежали по краям кресла, глаза глядели открыто и просто, чтобы его не смущать. Он сказал:

– Вы всегда были добры ко мне, я не могу сказать вам, как я вам благодарен, как я вам благодарен за вашу доброту... Вы, бесспорно, лучшее событие моей жизни, моя единственная удача... До вас и Анри я не был счастлив... Теперь я бы хотел жениться.

Он прибавил тише:

– На особе, на которую вы имеете влияние, – м-ль де Фонтенэ.

Он ждал, он не казался смущенным.

Но Сабина его не видела; она слышала жужжание и страшный звон. Казалось, он крикнул ей эти слова прямо в душу, в мозг, в сеть нервов и крови.

Кончено... Ее потрясенный рассудок обрел то страшное спокойствие, ту блаженную скованность, которую смерть сообщает лицам. Она ответила голосом простым и ясным, нечеловеческим голосом, не звучавшим неискренно:

– Хорошо, я подумаю, посмотрим, что можно сделать... Затем хотела сдержаться, не смогла и тихо спросила:

– Вы в нее влюблены?

Он всмотрелся в себя, ответил без страсти:

– Да... Да... дружески влюблен.

Сабина встала, ей больше нечего было ему сказать, она чувствовала свою ужасную бледность.

– Теперь идите, – сказала она отчетливо и торопливо, как человек, вспомнивший спешное дело, – если бы вы знали, сколько мне сегодня надо сделать, сколько писем написать...

И она засмеялась, – каким смехом! С каких разбитых клавишей слетел этот смех!

Она осталась одна, она села, она ничего не понимала... она упорно разглядывала на стене маленький японский пейзаж, в рамке яркого дерева; она замечала, что на рисовой бумаге цвета слоновой кости облака, изображающие вечернее небо, напоминают папиросный дым; она рассматривала это с жалостью и нежностью, как если бы эта картина, свидетельница этих ужасов, сделалась ей дорогой...

Что-то в ней было так сломано, так разбито, что ей казалось, что и тело ее разбито, что она, если захочет встать, не сможет пойти. И чтобы больше не видеть того, что видит, она встала, сделала несколько шагов. От этих движений мысль в ней проснулась с ужасающей силой.

Она это почувствовала, смертельно этого испугалась. Она взяла себя за голову, руки ее падали и вновь поднимались ко лбу, она громко говорила:

– Нужно с этим справиться, справиться.

Воспоминания вставали, воспоминания о голосе, о взглядах этого человека. Они подступали прыжками, как лава, и, сообщая телу движение души, бросали ее на бок, разбитую, с руками, вцепившимися в стену.

Она говорила еще: «Надо это убить, надо это убить»... И ходила по комнате с невероятным усердием, невиданной мощью, раскрыв руки в порыве нечеловеческой силы.

Напряженная, согнутая, подобная дереву под грозой, она быстро ходила, как бы сгибая в руках железо, как бы загоня свою душу на смерть.

Затем следовали минуты упадка, теплые потоки слез, нищая, лепечущая нежность. Она просто говорила: «Ах!.. Ах!..» – через определенные промежутки – ритм освобождения, смягчающий строй страдания.

Теперь, уже сидя, она говорила спокойным, однообразным голосом:

– Вот, вот, – говорила она, – у меня только это было, а теперь у меня ничего нет. Мне нужно, чтобы кто-нибудь взял меня за руку, тогда я ему скажу: «Вы хороший, хороший...» – и умру, и буду спокойной, спокойной... и так странно будет, что я спокойна, – ведь ничто во мне никогда не было спокойным... И, во-первых, я не успокоюсь, потому что мне надо уже очень давно быть мертвой, чтобы что-нибудь меня успокоило... И это будет такое безумие, что я умерла...

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Она повернулась головой к окну, открытому в сад; маленький жаркий ветер, казалось, рассыпал, рассеивал по дорогам тонкий вечерний пепел. На холме с необычайной ясностью вставали три тополя. Сабина тупо смотрела на них, она думала о том, что они неравны и сближены, как три средних пальца руки, точь-в-точь как эти три пальца... Она думала: «Все пусто и всюду, все в природе нищее и маленькое, бедные деревья, которые боятся ветра и дрожат всеми листьями, и весь этот сад, который боится вечера, который никогда не бывает счастлив, которому никогда не весело...» Теперь она ощущала облегчающую пустоту в голове, она вздыхала: «Сейчас мне спокойней, с каких пор мне спокойней?» Точно сон ей снился, сон, слишком длинный для этих нескольких минут.

Ласточка пролетела – быстро и низко, – крик, два крика – они вошли в Сабину, как тонкая, кружащаяся стрела, и снова тоска залила ее.

Тоска! Тоска! Восхитительный рычаг желания! Отчаяние мечты, для которой нет иной помощи, кроме поцелуя; плач человека перед лицом природы!.. Вечное колебание Адама и Евы, которых все во вселенной обессиливает и тихонько приближает, склоняет друг к другу, – к тому мгновению души, где крайнее острие нервов – взгляд...

Г-жа де Фонтенэ вышла из комнаты, где находилась, равнодушно заговорила с повстречавшимся ей Пьером и, войдя к себе, упала на постель с одной надеждой: «Умереть!» Теперь она плакала громко, не боясь быть услышанной. Она чувствовала, что все в ней расходится, что жизнь, сила, осторожность, привычка, инстинкт – расплетаются, растекаются слезами по ее лицу.

Стук в дверь. Она приподнялась и крикнула:

– Кто там? Ко мне нельзя.

Но дверь тихо дрогнула, и вошел Пьер. Он увидел ее.

Он сказал:

– Вы несчастны, не бойтесь меня.

Сабина спустилась с постели. Усталость обвила ее, как пеленами, и заставила ее шататься. Она подошла к Пьеру, взяла его за руку, заставила сесть и села рядом. Мгновение они молчали, потом он сказал:

– Плачьте, плачьте, мы одни; я только что расстался на дороге с вашим мужем и его сестрой, они вернутся не раньше вечера. Если не хотите, ничего не рассказывайте, только не удерживайтесь от горя.

И Сабина тихонечко прижала к глазам руку Пьера, чтобы ничего не видеть, как в темной могиле... Мгновениями она забывалась, потом просыпалась, пронзенная воспоминаниями. Она дрожала. Сердце, скачущее в ней, сотрясало ее грубыми, частыми толчками; казалось, что она в легкой коляске уносится по островам, жесткими дорогами. Пьер сказал ей:

– Сейчас – самое сильное мгновение вашего горя. Потом будет легче, вы увидите.

Но она думала, что это неизлечимо, она повторяла себе, что то, что сейчас было – этого уже нет! Она не понимала; как одно мгновение, самая маленькая частичка времени смогла раздробить ее жизнь, разрезать ее пополам, отодвинуть в прошлое единственные мгновения ее счастья – и какого, однако, горького счастья! – а там, по другую сторону, в будущем – страдание, низкая, мертвая, бесконечная равнина...

Она стонала; Пьер, который не мог ей помочь, смущался от этих слез. Она была измучена.

Чтобы дать ей немного отойти на воздухе, он насильно увел ее в сад. Она удивлялась всему, что видела. Она не понимала, зачем на кустах эти розы, эти спокойные, прекрасные розы на колючих стеблях; вечер спускался на дороги, проникал к листве, входил в нее нежным и грустным поцелуем. От всех этих разрозненных частичек красоты Сабина, в глубине существа, умерла... Зачем эти цветы, эти благоухания, эти очарования вечера, этот серебряный звон воды, ниспадающей в водоем, раз мужчина и женщина – враги?

Прошла деревенская девушка с серпом и лейкой. Вот эта – она та же сегодня, что вчера, она спокойно вернется домой, сядет за некрашенный стол, потом ляжет и грузно заснет. Значит, есть еще люди, для которых этот день протек легко и обычно? Значит, только для нее одной – этот страшный удар, этот скачок вселенной... Она просила Пьера:

– Сколько времени я буду так мучиться?

Она попросила его объяснить ей научно, в медицинских терминах, естественное, неизбежное ослабление воспоминаний. Она пыталась этому верить. Еще она сказала:

– Почему мужчина и женщина – как враги? И все же, – что же есть еще, кроме любви?

И повторяла, с телом опечаленным, измученным насмерть:

– Что же есть еще, кроме любви?..

VIII

Несмотря на страшную усталость, г-жа де Фонтенэ принудила себя выйти к столу; она старалась принять беззаботный вид, и эти усилия несколько ослабляли ее боль. Вечер вышел легче, чем она ждала. На Жерома она не смотрела, не говорила с ним или обращалась к нему одновременно с другими, глядя на всех сразу. Довольная своим поведением, она ощущала, как всегда бывает в таких случаях, уверенность и напряженное спокойствие. Но она слышала голос юноши и уже ничего не могла поделывать... Он что-то говорил, какие-то бедные слова, но голосом, который она любила. И, слушая его, Сабина снова наслаждалась его душой, пленницей его прелестного горла...

Она вышла, легла в постель, как в могилу, и спала долго, – всей усталостью, всей волей, с ужасающей ясностью предчувствуя пробуждение. И, проснувшись на следующий день, она сразу поняла, что не избавилась от своей муки. Она несла ее в себе, как женщина – будущего ребенка, в глубине плоти, под сердцем.

Она говорила себе, что не все еще потеряно; что – раз он не умер, и раз она никак не может без него жить, она все же возьмет его себе. На чем основано это отрешение, это отчаяние! Разве она не знает слабости Жерома?.. И все же, как все теперь будет трудно!

Открыв окно, она услышала шум шагов по гравии. Это ее муж и Жером совершали утреннюю прогулку и беседовали. И беседовали! В то время, как над ней совершалось нечто более жестокое, чем смерть, они спокойно беседовали, эти двое, которым она была другом!

В это мгновение, когда она коснулась самого дна бездны, чем могли они ей помочь: один – незнающий, другой – враждебный.

Она смотрела на утро; быстрые мухи тонким шумом прорезывали безмолвие воздуха; от цветов, сжатых жарой, поднимался сильный и горячий запах; солнце лилось на землю, как зерна божественной ржи.

Сабина страдала... Она говорила себе, что каждый раз, как будет дрожать над ослепительным днем бесконечное летнее небо; что всюду, где будет свет, легкий воздух, сверкающая трава и лазурь сквозь прорези шумной листвы, всюду, где будет прохладный клочок земли под тенью дерева, простодушный и ласковый дом, с тайной его дверей, опущенных штор, плюща и розовых кустов; всюду, где будет дорога с горизонтом из лиловых холмов и возле цветущей изгороди, под небольшим откосом – путь из железа и щебня, куда врывается со страшным криком поезд, – что всюду, где все это будет, ее сдавленное сердце неминуемо вздохнет невероятным и смертельным воздухом.

Так она пойдет сквозь сердце лета, испуганная каждой красотой, – опустошенная душа, где сильнее раздаются крики птиц и крики скрипок, – все голоса желанья и любви.

Что ей делать, когда, с горлом, сжатым воспоминанием и сожалением, с глазами пристальными и сожженными, как если бы жаркий ветер их засыпал песком, ей

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
придется быть с другими в часы прогулки и обедов...

По утрам, когда сады подобны шумным ульям, когда солнце прядет свою медовую пряжу и когда водоемы сверкают, свежие на взгляд, как фарфор, что ей делать тогда с этим опьянением души, с этой жаждой быть и быть, с этим вечным зовом любви?

Белыми полуднями, в комнате с закрытыми ставнями, сквозь которые гладкими полосками, как весла в воде, слегка проскальзывает свет, что ей делать под звон старинных часов из дерева и меди?

В ее комнате с полевыми цветами в вазах – царицей лугов, колокольчиками, гусиной травой – будет темно и будет пахнуть тенью, как в помещениях, где летом хранятся фрукты. Она откроет какую-нибудь книгу, – конечно, не роман и не трагедию! – путешествие. Но что станет с ее терпением, с ее покоем, если во время чтения она слишком живо представит себе Испанию, желтую и сухую, распятую между ужасными играми солнца и быка?

О, пытка мечты!

Когда мало-помалу встанут перед ней лики далеких городов, когда запоют в ней имена Толедо, Севильи, Гренады, Кордовы, ее страстно потянет с ним туда, где царят все страсти.

На арене, перед раненым человеком и раненым зверем, она всем своим сердцем, более раздраженным, чем весь кровожадный цирк, смутится от его бледности и смеха, двойного инстинкта его слабости и жестокости.

Под этим небом они насладятся всеми прекрасными сменами жары и холода, оцепенения и подъема.

Сжигаемые жаждой, они будут утолять ее напитками смертельной прохлады, руки их будут лежать на мраморе садового столика, и вся их лихорадка обернется в желание друг друга.

Вслед за томительными послеобеденными часами, отягченными этой грустной душевной мутью, спутницей жаркого отдыха, – оживленное веселье вечера, прогулка по черным улочкам.

Но ему этого не надо, ему ничего от нее не надо, кроме того, что он у нее просил: ее помощи в этом браке.

Что же ей теперь делать? Как она теперь сможет идти с ним вечером рядом, с ним и другими – Анри, Пьером, Марией – по темнеющим дорогам, говорить тихо и просто, опустив по сторонам отчаянные руки, тогда как ее напряженное тело и неровное дыхание будут в вечернем воздухе – как жалобы, как крик?

Каким теням в тени, каким успокоительным и ласковым теням протянет она свои руки, пронзительные от любви, свою душу, удлиненную, растянутую страданиями?

Сила мечты и ты, печаль, восторженная, как летняя луна, как вас осилить разуму и что вам противопоставить, кроме надежды на скорую старость, на остывшее воображение, на слабую и замедленную кровь?..

IX

Дни следовали за днями, а г-жа де Фонтенэ все еще не представляла себе ясно, что все кончено, что надо вырвать из жизни воспоминание об этом приключении и странную надежду, которая у нее осталась. И она думала, думала – как ходить для того, чтобы устать.

«В таком случае, к чему все его прошлое поведение, – говорила она себе, думая о Жероме Эрель. – к чему его влечение ко мне и внимание?»

И всегда она приходила к благоприятным выводам.

«Он, вероятно, не знал, что он мне так нравится, но теперь он, конечно, разгадал мое волнение, и все переменится».

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Все же, когда она заметила невозмутимость этого мальчика, его непринужденность – лишь несколько менее самоуверенную, как если бы Сабина, отняв у него свое участие, уменьшила его в собственных глазах, – она поняла, с каким бессознательным и деловитым себялюбцем имела дело.

Это суждение ничуть не умерило ее отчаянной нежности. Она уже слишком любила бледное лицо юноши, его рассеянные глаза, где только мгновениями загорался взгляд, чтобы что-нибудь смогло отвлечь от него ее обожание.

Чтобы смочь смотреть на него, – а ей все-таки хотелось на него смотреть! – она старательно выискивала недостатки на его лице. Однажды она с радостью заметила, что у Жерома слишком короткий подбородок и что это его очень портит в профиль.

«Это очень некрасиво, – подумала она, – и, главное, неприятно; какой он неприятный»...

Это слегка успокоило ее на полчаса, она говорила с ним просто, как с другими, но, внезапно завидев на его лице знакомое выражение, снова впала в свой восторг, исходящий кровью, как рана.

Так было долго. Она делала безумные вещи.

Как-то раз одна ее подруга, жившая в соседнем замке, приехала к ней со своим двухлетним мальчиком и, уйдя в библиотеку написать два слова, оставила Сабину одну с ребенком.

Сабина тихонечко прижала к себе малютку и говорила ему в волосы:

– Вы, вы, маленький, вы счастливы, вы – мальчик, потом вы будете любить женщин, и это не так ужасно...

В другой раз, когда после обеда поднялся спор о страстях – сидели все вместе, даже Анри де Фонтенэ присутствовал – и Луи де Розэ неопределенно спрашивал о том, как у женщин зарождается любовь, Сабина нетерпеливо и торопливо ответила:

– Вот, ни о чем не думаешь, радуешься, одеваешься, надеваешь вечером ожерелье и кружевное платье, в котором наполовину голая, выливаешь флакон духов на плечи и идешь на это, смеясь, не подозревая, какая это смелость. Никто бы не пошел к родственнику, у которого тиф, а на это идете, смеясь... и это самая страшная из болезней, – вся душа в синяках...

И с видом равнодушным и отвлеченным добавила:

– Я наблюдала это у многих подруг.

Теперь присутствие Жерома ее раздражало.

Все, что она за это время через него перестрадала, вся усталость, все унижение возмущалось в ней, вставало в ее сердце горечью.

Порой ей казалось, что она его ненавидит. Когда между ними в гостиной, после обеда, заходил разговор, она с ожесточенной дерзостью противилась его малейшим попыткам спокойной беседы, планов на будущее. Насмехаясь над ним каждым движением и взглядом, она молча отталкивала то, что он говорил, что хотел сказать – пока, наконец, на лице Жерома не показывался этот физический упадок, эта внутренняя усталость, близкая слезам, так знакомая Сабине. Он казался ей похудевшим, она с волнением угадывала скрытый остов его нежного лица; тогда, резко меняясь, она становилась дружественной, окружала его радостью, свободой. Ей бы хотелось взять его за голову и, нежно прильнув губами к его волосам, утешать его, успокаивать от своей дурной, вредной любви.

Хотя она и не изменилась к Марии, она все же предпочитала ее избегать.

Она понимала, что надо же будет когда-нибудь заговорить с ней о предложении Жерома и склонить ее к этому браку. Думая об этом, она плакала; она чувствовала себя такой, такой усталой, что, правда, не надо было требовать от нее некоторых вещей. Жером не должен был поручать ей этого; она и не торопилась, смотрела на себя, как на больную, которую нужно щадить, выжидая, для этого разговора,

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
приезда матери Марии и нескольких более спокойных ночей. Она ясно знала, что
сделает то, что нужно, но собиралась с силами медленно.

Впрочем, она повела себя открыто и смело, ни разу не попыталась обмануть свою
совесть, убеждая себя, что этот брак – не для Марии. Она сознавала, что м-ль де
Фонтенэ сможет быть счастливой с этим юношей – очаровательным, дельным и
добродетельным, сухим и узким в своей добродетели, но, очевидно, верным; да ей
самой еще казалось, что такой союз – единственно возможное желание.

Однажды, когда они сидели наедине в гостиной за чаем:

– Мария, – сказала Сабина, – мне нужно сообщить тебе одну очень странную вещь.
Угадай, кто хочет на тебе жениться?

Молодая девушка удивилась, подняла голову и стала думать. После долгих усиленных
поисков она называла имя, потом другое, а Сабина весело, с позабавленным видом,
забывая свое горе, смеялась и качала головой в знак того, что подруга ошибалась.

Из чашек чая, стоявших между ними, на столе, поднимался пар; сквозь неплотно
закрытые окна входила тень и сырость сумерек. Виднелось небо – глубокое, еще
голубое.

Г-жа де Фонтенэ сняла свою шляпу с цветами; она держала ее на коленях и, играя,
быстрым движением втыкала в нее длинную булавку с опаловым шаром; и, глядя на
Марию, которая все еще не угадывала, добрым веселым взглядом, все ждала этого
имени, стерегла его ребячески, как на розыгрыше лотереи.

– Я их всех назвала, всех, о ком думаю, – воскликнула молодая девушка. Все в ее
голове перепуталось, и она теряла терпение. – Скажи, Сабина, кто ж это?

– Это, милая, Жером, ему безумно хочется на тебе жениться.

Мария, изумленная, спросила раз за разом, с небольшими промежутками:

– Нет... Ты думаешь?... Он тебе сказал?

– Да, он просит меня сказать тебе об этом, и я нахожу, что это очень хороший
брак.

М-ль де Фонтенэ молчала. Она сосредоточенно принимала в себя этот новый лик
жизни, изумлявший ее и ослеплявший. Затем, молитвенным голосом, умиляясь
сознанию собственной важности, стала расспрашивать Сабину подробно, с каких пор
Жером ее любит и часто ли о ней говорит и как говорит.

Ответы Сабины все более и более убеждали и умиляли молодую девушку.

Большая нежность шла от одной к другой.

– Я буду думать весь этот месяц, – шепнула Мария. В комнате было темно. Небо,
после заката солнца, казалось рассветным; по легкому шуму ветра в занавесах
угадывалось, как сейчас должно быть холодно цветам.

Мария встала и уселась к Сабине на колени; тяжесть ее несколько придавила ту,
более хрупкую.

Погруженная в воспоминания о прошлом, тронутая и отодвинутая, мыслью о браке,
молодая девушка спросила:

– Если я когда-нибудь выйду замуж, все между нами останется по-прежнему? Я с
тобой так же часто буду видеться?

– Еще бы, – ответила молодая женщина, – у нас с тобой все – навсегда, милая...

Их платья смешались. Сабина держала на себе Марию, тяжелую, смущенную мыслью о
новом существовании, о целой жизни, которую надо прожить. Она повисла на ней,
пряталась в нее головой, слабая, беспомощная, как девочка, принесенная в жертву.
Ноги Сабины были целиком покрыты Марией; только край ее лилового полотняного
платья выглядывал, окаймляя ее узкие ступни, слегка расставленные от напряжения.

Вечерний поезд, свистя и шумя, прорезал воздух грустью; затем, когда вернулось молчание, затрещали, захлопали крыльями сверчки.

Сабина, повторным движением, слабо и медленно проводила рукой по волосам Марии и шептала ей голосом, тихим и таинственным, как эта темная комната:

– Подумай, а потом решайся, да? Я была бы так рада... – и добавила: – Будь счастлива!

В это мгновение сердце ее наполнилось нежностью, бесконечным прощением, слезами и святостью.

Х

Время от времени, гуляя с Сабиной, Мария говорила ей о своем будущем. Она к нему привыкала, принимала его спокойно, без страсти, как если бы это было самое приятное и разумное из всего, что можно было сделать.

– Жером очень умный, ведь правда? – спрашивала она. – И добрый, он добр к моей матери. Недавно он так хорошо поступил с мальчиком садовника – его ужалила пчела – он взял его за руку и отвел в аптеку.

– Конечно, – отвечала на все это Сабина, – конечно. Казалось, она радуется тому, что Мария находит примеры доброты этого человека. Что касается ее, она вряд ли бы сумела их найти...

Жером еще не проявлял особого внимания к Марии: переменить с ней обращение до ее окончательного ответа было бы, по его мнению, некорректным. Он работал, уходил один подолгу в горы, выказывал Сабине дружбу, в которой ничто не изменилось, которая могла бы длиться вечно.

Но г-жа де Фонтенэ его избегала; по вечерам она часто уходила к себе и читала до самого сна. Она не доверяла себе, боялась того, что еще так мало в ней улеглось.

Глаза этого юноши, эти глаза, устремленные на нее без умысла – просто, по его привычке так долго смотреть, – делали ей еще слишком больно. Это настигало ее врасплох, измена собственной гордости, ужасающая, буйная, низменная тоска, от которой она потом слишком страдала.

Она вспоминала, как в один из последних вечеров, именно в ту минуту, как она проходила через гостиную, ища чего-то на столе, у открытого окна, она увидела его на подоконнике. Он был здесь, перед ней, между серебряным светом и желтым пламенем всех свечей, зажженных в гостиной. Даже не думая о том, что делает, она остановилась на мгновение, взглянув на него, и уже не смогла отвести взгляда; он смотрел на нее просто, не взволнованный.

Рыдание поднялось в ее душе; она смотрела в это лицо, где все ее искушало, и зубы ее горько сжимались; она ощущала жестокое, мучительное желание, кровожадное желание – грубо прижать к себе юношу и увидеть на его лице радость – боль или радость, все равно! Ужасающую радость, лишь бы это было что-нибудь от нее...

Это длилось мгновение; ей стало стыдно, она отвернула взгляд и, устав от такого сильного порыва, проплакала тихонько целый вечер.

Однажды Мария и Сабина беседовали. Молодая девушка, ободряемая матерью, решилась на этот брак и говорила о Жероме.

– Вот видишь, – не могла не сказать Сабина, все еще одержимая, – видишь, а ты раньше думала, что он в меня влюблен...

– Правда, – спокойно согласилась Мария, – мне так раньше показалось, а потом я увидела, что ошиблась.

Новая рана для Сабины! Хоть бы прошлое ей оставили, это несчастное прошлое!

Она ответила слишком горячо:

– И потом, если даже это немножечко было, – ведь это неважно; он тебя тогда

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
почти не знал...

В спокойных глазах Марии появилось удивление. Она почувствовала враждебность в голосе Сабины, но она привыкла ни в чем ее не судить.

Кроме того, она не понимала сложностей.

Жером ее любит, значит, не любит другой; ее оценка Сабины – восторженная, почтительная и страстная – не давала ей и в мыслях предположить, что возможно что-нибудь у нее отнять, обделит ее, причинить ей вред, сделать больно.

Она не думала о ней, как о героине любви. Она считала ее гордой и любопытной, всегда играющей, по временам болезненной и горькой.

Она как-то говорила об этом с двоюродным братом Сабины, Луи де Розэ. Он находил, что Сабина одна из тех женщин, к которым мужчинам, – а мужчин он считал от природы нежными и несчастными, – лучше не привязываться, ибо вряд ли она способна на другое пламя, кроме смеха и своего восхитительного тщеславия.

Думая о себе, он вспоминал, как она его, еще девочкой, мучила, и радовался своему освобождению.

– Уже тогда, – говорил он, – любовь, которую она чуяла, вызывала на ее лице какое-то жестокое удовлетворение, эту сытость красивых зверей.

Он находил, что сознание быть любимой, которое неминуемо должно склонять женщину к мужчине, по крайней мере из жалости, – ее, Сабину, толкает в жизнь, к другим туманным и темным снам, где бедному влюбленному нечего делать.

Он говорил это с прежней обидой.

Мария возражала, что не знала ее в то время, что теперь она, кажется, не такая.

– Для нас такая же, для нас, – отвечал он.

«Для нас» в его устах значило – для мужчин, несмелых, трусливых перед лицом любви.

Искренний и тонкий, молодой офицер, шутя, признался, что не любит загадки трудных глаз и что многие его друзья с ним сходятся. Они любят, чтобы приключение и страсть каждый раз были тем же, чем уже были: все сызнава, без случайностей и опасностей: женщина желанная и благосклонная, и единственная тайна в ней – тайна ее духов и платья и ее предвиденной лжи. Но он и другие берегутся этих себялюбив, гордых своей красотой, женщин, не боящихся мужчин, неуязвимых, неуловимых.

Так думал Луи де Розэ, а г-жа де Фонтенэ проходила по жизни, удивленная и страдающая, не понимая, за что ей такая рана, стараясь поднять свою душу, тянущую ее вниз.

Она обрадовалась, когда Пьеру Баланс пришлось уехать от нее в Париж.

Его участие в тот вечер, когда она плакала, и дружеское молчание – обоюдное немое соглашение никогда не упоминать об этом – обязывали ее к благодарности, которая ее утомляла.

Она теперь имела ясное представление о характере Пьера. Она чувствовала, что он ищет радости и что долгая жалость выбивает его из колеи. Тогда она, в благодарность ему, постаралась выглядеть равнодушной, стряхнувшей свою случайную печаль, и увидела, что это ей удается, что Пьер забыл прошлое; и все это ее изводило.

Г. де Фонтенэ, сердечно обрадованный предстоящим замужеством сестры, вел себя, в течение этих нескольких месяцев, вполне как счастливый родственник. Он смеялся над Марией и Жеромом, уже помолвленными, дразнил их, преследовал, оставлял вдвоем, встречал их шутками, которые Сабина выслушивала, бросая на мужа сдержанный гневный взгляд, где загоралась тайная месть воспоминания.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Она очень страдала в миг обручения, в миг, когда, полная подъема и дружеской хитрости, она, смеясь, толкнула Марию к Жерому со словами: «Теперь вы можете поцеловаться», и все последующие дни она ощущала возникшую между ними умиленную важность нового союза, невидимую цепь, почти мешавшую им надолго отойти друг от друга.

Он был ее, она – его, так сказало общество и природа. И это их смущало, потрясало – и молодую девушку, дарящую самое себя, и юношу – хозяина чужой судьбы.

Их отпускали гулять вдвоем. Сабина с преувеличенной сдержанностью отовсюду уходила с их пути, раздраженная и униженная.

Она жестоко, до пронзительнейшей боли наслаждалась всеми их движениями друг к другу, застигнутыми врасплох: умилительными, слабыми движениями людей, уставших ждать, двух существ, которые, изнуренные воздержанием, тихонько садятся рядом, берутся за руки уже без желаний.

Сабина чувствовала себя такой заброшенной, такой несчастной, что тянулась к Анри, как бы прячась в него, вновь переживая частичку прошлого, невинности, любви; а он, встречал ее просто, без нового порыва, так как он и раньше не замечал перемены.

Молодая женщина занималась еще тем, что защищала Марию от раздражительности ее матери, видевшей в этом браке только вопрос приданого, обязанности напомнить о себе нескольким пожилым значительным дамам. Она составляла многочисленные списки свадебного обряда, приглашений, подарков. Будущее счастье дочери она рассматривала лишь с точки зрения переезда.

Сабина радовалась, что в этом году отъезд ускорится сам собой.

Довольно ей этих прекрасных осенних дней, этих утр, смоченных круглой росой, довольно ей видеть, как Жером и Мария возвращаются с прогулки, замерзшие, запыхавшиеся, счастливые, как они греются у доброго деревенского огня, так прелестно пахнущего деревом, смолой и сосновыми шишками.

Довольно ей этих длинных вечеров, когда слышатся их два тихих голоса, когда ветер шумит вокруг замка, а она, муж ее и его мать сидят на другом конце комнаты, у стола, с книгой в руке, как старики, для которых те слова уже не созданы.

Если бы это продлилось, она умерла бы с тоски, умерла бы от всего этого, плача на руках Анри.

И она вздыхала:

– Еще свадьба, еще этот ужасный свадебный обряд.

Она думала, что Жером любит Марию, что немножко любил ее раньше, что теперь любит больше. Он был из тех, что отдают себя вполне только у цели, когда спокойная уверенность разверзает и замыкает желание.

По возвращении в Париж для всех настало спешное, беспорядочное время. Сабина и Мария жили в магазинах. О Жероме не думали, его почти не видели, так он, со своей стороны, был занят уборкой прежней квартиры, старых бумаг, – всей своей холостой жизни.

Настал день свадьбы, очень холодный день в начале декабря.

Сабина никак не могла покончить с одеванием.

Ей в этот день нужно было быть очень красивой, для самой себя, чтобы себе нравиться и быть не слишком грустной. Нетерпеливая, слегка развлеченная спешкой, торопя Анри, она рано приехала с ним в церковь. В церкви, несмотря на отопление, было сыро, и только там, в глубине, цветы и свечи придавали всему радостный, праздничный вид.

Невеста не ехала, жених тоже. Ждали, разговаривали. Наконец, м-ль де Фонтенэ

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru вышла из кареты, в сопровождении матери. Мария была хороша, хотя стесненная тяжелым платьем и фатой; она ни на кого не смотрела. Жером был здесь. Он казался взволнованным.

Процессия двинулась к алтарю, и надутый орган разразился своей мистической бурей.

Обряд был медленный, длинный. Временами Сабина видела Жерома в профиль. Он был торжественен и двигался лишь с крайним волнением; она чувствовала, как он умилен своей значительностью.

Священник восхвалял молодых их семьи, их собственные достоинства, и вот уже скрипки, тронутые мечтой, дрогнули, и голоса, мужские и детские, заликовали в выси, на хорах; потрясающее ликование, страшная Осанна обезумевших архангелов, божественная потеря дыхания.

Потом раздался тенор – один, и языческая музыка, коварная светская музыка, подражала баркарале, всхлипу весел, всхлипу воды, вздохам любовника под окном возлюбленной.

Сабина смотрела, как дрожат золотые языки свечей и белые цветы на алтаре.

На бархате кресел Мария и Жером были совсем бледны, смущенные величием. Это изумительное опьянение, это разверстое небо, – все это чествовало их бедную любовь?! Этот праздник из огня и золота делал их драгоценными друг другу.

Сабина ревновала, ревновала от мысли, что никогда уже для нее не будет этой пышности, этого великолепия; когда она любила человека, небо уже не вмешивалось.

А теперь продолжала возносить свою жалобу к Деве Марии.

«Те, что жаждут в бреду, должно быть, так призывают воду в пустыне...» – думала Сабина.

Она немного продвинулась вперед и теперь яснее видела молодого супруга, которому молитвенное торжество сообщало трагическую важность, сдержанную растерянность, где смешались благодарность, скромность и гордость. Свет свечей на его лице и руках делал его призрачным, ослепительным, как Рождество и Пасха... Сердце г-жи де Фонтенэ умирало от волнения. Она вдруг ощутила самую сильную нежность своей жизни, бесконечное желание взять обеими руками эту бледную голову, сказать этому юноше: «Любовь моя, мальчик мой, идите ко мне, живите в моих объятиях, в моих волосах, в моих слезах...»

Этот день был дурной для Сабины, и еще вечером она долго представляла себе отъезд молодых в Италию, дорогу в темном вагоне, головокружительную дорогу по летящим рельсам.

Затем, через неделю, истощив все силы своего воображения, она последним решительным движением вырвала остаток сердца у этого воспоминания, последние нити порвались, и этот человек в ней умер.

Она входила в другую жизнь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Душа, что, убегая от себя и вновь к себе возвращаясь, описывает самый широкий круг.

Ницше

I

Она теперь чаще виделась с Пьером Балансом. К концу дня они встречались: Анри, Пьер и она. Но Анри стал привыкать к большим прогулкам перед обедом, доходил до Сюрена и Севра; тогда г-жа де Фонтенэ и Пьер оставались после чая одни и говорили.

Общим, тождественным между ними были: гордость и искренность. Пьер удивлялся, что она так уверенно говорит обо всем: о страсти, о желаниях, о всех тонкостях человеческого существа. Он высказывал ей это. Она отвечала, сосредоточенная, вглядываясь назад, – в душу.

– Да... это, может быть, потому, что мое прошлое было именно таким, и теперь во всех моих жилах – мудрость...

Он, улыбаясь, подшучивал над ее пристрастием к некоторым словам.

– Вы очень любите слово «сердце»?

– О, да! – признавалась она. – Не правда ли, это слово – круглое, нежное, на плоти и крови?

И руки ее лепили в воздухе очертания слов.

Пьер не был любопытен, не старался узнать, о чем она теперь думает, никогда не заговаривал с ней о прошлом; он всем сердцем забыл его.

Иногда, возвращаясь после покупок или с прогулки, Сабина встречала его, идущего к ней. Они делали несколько шагов рядом и глядели на окрестности.

– Как это прелестно, все эти маленькие сахарные царства, – говорила Сабина, указывая в тот день на низкие холмы и Мон-Валериэн под снегом. – Снег благороден, – добавила она. – Замечаете ли вы, что малейшие вещи, самые бедные и некрасивые, становятся через него драгоценными? Трубы, например, черепицы и молчаливый двор какого-нибудь дома, или здесь, на дороге, эта сорная тачка с положенной вкось метлой. Получаются очаровательные картинки. Для меня зима – как виньетки в немецкой книге: крыши домов в Эльзасе, с гнездом аиста.

Он забавлялся ее выдумками.

– А что для вас лето? – спросил он.

Она подумала и сказала:

– Я вижу его ужасным, где-нибудь в персидских провинциях, погребенным в черно-зеленой листве, где вскипает дыхание змеи... И потом вода – ее слышишь, но не видишь – звук воды в водоеме, падающей маленькими каплями на мрамор, звук, сводящий с ума, потому, что человек, в моем лете, умирает от жажды и от желания всего, всего...

– А у моего лета, – перебил ее Пьер, – глаза карпа, пускающего пузыри на прудах лафонтэновских басен. Помните этого прелестного, счастливого карпа?

О, Сабина его хорошо знала! Ей не раз приходилось провожать его мысленно по маленьким волнам, вдоль песчаных отмелей и лугов Франции.

Пьеру нравилось у молодой женщины. Здесь он свободно предавался своим социальным теориям. Сабина слушала. Иногда она смеялась над его детским изображением будущих веков.

– Это совсем, как обложки утопических книг, – говорила она. – Большое полусолнце, с лучами, точь-в-точь как спицы колеса, и огромная равнина, и видно, как хлеб растет, и еще голый человек, который, очевидно, чувствует себя великолепно. Я думаю, в те времена будет вечное лето, – град бы все расстроил...

Но сама она, страстней Пьера, отдавалась мечте о справедливости и жалости. Жалость всегда права – это было ее единственной уверенностью. Она читала научные книги, все, что разъясняет жизнь, мысль, человека – слабого и осужденного на нищенскую участь.

Она любила жизнь, все ее приметы.

На лицах рабочих, запачканных известкой, она уловила самые нежные линии смирения и внутренней гармонии. И это раскрывало ей сердце.

Она знала, что Анри возражал на ее теории человечности.

– Ты все же ни в чем себя не лишаешь, – говорил ей муж, – не отдаешь гостинной и ожерелья.

Но Сабина чувствовала, что это ничего не значит; она знала, что ее простое благосостояние не враждебно людям, что ее привычки мудры и нежны, что снести на улицу пятьдесят жемчужин – ничему не поможет и что только в ясности ума, в огромном пламени сердца, в единении и согласии – насыщенный дар и сила,двигающая горами.

Впрочем, ее вкусы изменились; она больше не бывала в свете, отказалась от жестокой роскоши любви, жила чтением, созерцанием природы.

Анри часто сидел с женой и другом. У него был какой-то особенный ум, ловкий и замкнутый. Он выбирал в правде то, что ему было нужно, брал одно, отбрасывал другое, такое же необходимое и насыщенное. И Сабина кричала от искажения того, что ей казалось совершенным.

Г. де Фонтенэ обладал также изворотливой и темной привычкой смешивать обычай и целесообразность.

Он любил, чтобы преступники были, действительно, в глубине души, виновны. Это была в нем наследственная совесть, потребность оправдать жестокость. Он сердился и говорил Сабине:

– Значит, ты, со своими рассуждениями о свободе воли, сама могла бы совершить все эти преступления?

И целыми часами ей приходилось объяснять ему, что, не имея возможности этих преступлений в мозгу и нервах, она никогда их не совершит и что совесть – одно из проявлений бессознательного.

Но он оставался при убеждении, что ученые и философы провозгласили неответственность лишь для того, чтобы освободиться от долга.

Эти споры никогда ничем не кончались.

– Каким, в конце концов, по-твоему, должно быть правосудие? – спрашивал Анри.

На что Сабина отвечала:

– Восприимчивость и самосознание разъясняет нам причины человеческих поступков. Осуждая несчастного, укравшего кусок хлеба, правосудие только раздражает во мне своеволие и голод. Я бы хотела от правосудия простоты, чистосердечия и знания; чтобы люди, призванные судить других людей, сами прошли через принуждение и несчастье; чтобы они братственно ощущали мир; чтобы, зорко наблюдая себя, они поняли, в какой мере культура и благосостояние смягчили их врожденное буйство, и чтобы они мудрым, смелым и нежным взглядом проследили у тех, кого сейчас осмелятся судить, переход от нетерпения к мятежу, от брани к борьбе и от гнева к убийству.

Пьер улыбался от удовольствия, а Анри, раздраженный, с сознанием, что мстит за такие мысли, – и мстит по заслугам, возражал:

– Ну, что ж! Если вам хочется, чтобы преступники гуляли на свободе, увидите, как это будет весело!

Но Пьер не дорожил жизнью преступников, сумасшедших, всех этих кровожадных нищих. Он находил, что общество, уничтожая их – избавляет и их самих от их ужасного наваждения, освобождает и их от страшных законов их расстроенного мозга. Когда возрождение уже невозможно, уж лучше, может быть, смерть, чем пожизненная каторга; только он думал о смерти простой и человеческой, такой, чтобы несчастный даже не вздрогнул.

Сабина беспокоилась; она не хотела, чтобы трогали жизнь; но когда Пьер, в разговоре, предлагал духовное возрождение человека путем воспитания и гигиены, она слушала, и глаза ее упорно подтверждали, что это – очевидность.

Но между ними иногда возникали другие споры. Однажды вечером, когда он утверждал, что никогда уже отныне не будет ревновать, зная, чего стоит сердце женщины, Сабина возмутилась. Г-же де Фонтенэ необходима была эта уверенность,

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
что мужчины, все без исключения, еще способны на нежную и безнадежную любовь.

К концу января вернулись Жером и Мария из путешествия по ледяной Италии, пронзившей их жестким ветром, как бы из стеклянной пыли.

Их приезду обрадовались.

Теперь молодые супруги выглядели, как люди, привыкшие друг к другу. Они почти не обращали внимания друг на друга, они были друг другом. Их жизни казались близкими и согласными, как, должно быть, ночью их сон и дыхание.

Они походили друг на друга тем, как смеялись, покачивая головой, тем, как изображали удивление.

Жером, степенный и счастливый, устроился в браке, как в почтенном дедовском доме.

– Странно, – думала Сабина, глядя из глубины воспоминанья на это довольное, несколько жеманное лицо, – а я-то любила в нем тайного мечтателя, слабого и страстного героя, любовника садов и луны, грустного, как Генрих Гейне, – вот он, однако, какой...

Тогда она обрадовалась, что может целовать Марию без горечи. Но все же ей было немного грустно, что дружба Пьера Баланса принадлежит отныне не ей одной.

Пьер одинаково любил обеих. Хотя он и дольше знал Марию, последние месяцы сильно сдружили его и с Сабиной. Он относился к обеим с братской нежностью. Его мысль и взгляд прикасались к ним не иначе, как с осторожным, естественным почтением, которое делало их союз очаровательным. Вернувшись в октябре в Париж, Сабина поняла, что связь Пьера Баланса с актрисой на исходе. В один прекрасный день эта искательница приключений, устав от ревности Пьера, порвала с ним жестоко и окончательно.

После гнева, вздохов и угроз – обычных спутников разрыва – Пьер снова вернулся к своему прежнему приятному образу жизни. Еще месяц он страдал от взрывов памяти, потом всякая боль исчезла.

Он уже не верил, что очень ее любил, по крайней мере он был совершенно уверен, что о ней не жалеет. Говорил он о ней шутя, вкладывая в это слово здоровую мужскую гордость, избегающую болезненных воспоминаний. Анри и Сабина несколько сердились на него за решение никогда уже больше не любить, ибо любовь была главным и таинственнейшим событием его жизни.

Анри де Фонтенэ, назначенный мэром своей общины в Дофинэ, теперь часто уезжал по делам своей новой должности. Хотя он и сокращал свои путешествия, насколько мог, все же эти отъезды несколько расстраивали порядок дома; пришлось отказаться от совместных трапез, и Сабина чувствовал? себя одинокой, не имея уже ничего твердого в жизни.

Дни тянулись долго; с Пьером и Марией она виделась только за чаем; иногда, по вечерам, она ходила с ними в театр и чаще всего возвращалась усталая, получив меньше, чем ждала, утомленным взглядом разглядывала сквозь замерзшее окно кареты угрюмый Трокадеро в тумане и молчании полночи. Воздух ночи оставался для нее таинственным и несколько священным. Она не привыкала дышать им равнодушно.

Однажды вечером – играла цирковая музыка, на сцене сверкали в своих шелковых и стальных трико герои: борцы и жонглеры – Сабина заметила, что Пьер Баланс упорно разглядывает какую-то слишком нарядную женщину, склоненную на обод ложи.

Она была красива, с глазами темными и беспокойными и щеками цвета бенгальской розы.

Пьер сидел между Сабиной и Марией; отвлеченный этой особой, он тем не менее оказывал обеим молодым женщинам тонкое, покровительственное внимание.

И г-жа де Фонтенэ, без особенной ревности, думала:

«Нас с Марией он любит нежно, так нежно, что никак не может выбрать... Но он

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
человек страстей – и неизбежно уйдет от нас к одной из этих женщин, отягченных цветами и красками, как лето. Любовь сильнее всякой дружбы, и мы потеряем нашего друга, я потеряю верного друга, вносившего немного радости в мою жизнь».

Эта тревога бессознательно в ней укоренилась, и так как всякая тревога в ней была деятельной, она, сама не замечая, изменила свое поведение с Пьером Балансом. Большая сдержанность и большой выбор заменили прежнюю непринужденность. Теперь, когда они были одни, по временам возникало молчание. Огромный букет пармских фиалок, раздавленный в стеклянной вазе, возле дивана, где сидела Сабина, казалось, намеренно испускал свой запах, и что-то сверкало и волновалось в воздухе, как если бы слова, сказанные ими – им и ею – рассыпались искрами.

Тогда, казалось, они оба слушают, что говорит молчание, что говорит судьба, и оба на минутку нелепо задумывались, и глаза их глядели в тумане как огни маяков, – и это вносило тревогу в их простое прощание.

Воспоминания об этом уходили – Пьер был рассеян, – но случай, какой-нибудь спор, темная воля Сабины возвращали такие мгновения.

В тот день, когда она заметила, что он в нее влюблен, она ощутила не радость – она как-то разучилась радоваться, – но спокойствие и уют: теперь отношение этого человека закреплено. Пьер продолжал чувствовать себя с Анри вполне непринужденно. Его тревожное чувство к Сабине произрастало в смятении, и в этом смятении он ничего себе не объяснял. Он, главным образом, был занят своим умственным состоянием, относился к нему с любопытством, не проникал в глубь самого себя, туда, где тень.

Когда он, временами, беспричинно умолкал – такое молчание не было ему свойственным – все чувствовали тяжесть. В эти минуты он выглядел замученным, лишенным всей своей силы и умственного блеска.

Сабина, которую эта таинственная близость забавляла, испытывала иногда угрызения совести. Она говорила себе, что плохо сделала, доведя своего друга до нежности, на которую не сможет ответить; что это растрата лучших сердечных сил, – и кто знает, до какого отчаяния еще дойдет этот человек, такой темный в делах души. Доброта Пьера ее, однако, успокаивала.

Мария смеялась над щепетильностью Сабины. Она говорила ей:

– При чем тут ты? Чем ты виновата, это так понятно, что он тебя любит. Как это он не полюбил тебя раньше?.. В чем твоя вина, если даже он немножко мучится. Ты прекрасное мгновение в жизни людей!

Но Сабина не соглашалась, напротив, винила себя; она спрашивала себя, откуда в ней эта уверенность, что мужчина никогда достаточно не любит женщины, если в нее не влюблен, что любовь – единственная настоящая дружба мужчины. Ах, она так боялась сердечной скупости!

Что касалось женщин – другое дело. Они могут быть друзьями совершенными и чистыми, неся в себе родник материнской нежности.

Впрочем, Пьер чаще выглядел довольным. Присутствие г-жи де Фонтенэ облегчало его и радовало. Она догадывалась, что скорей вдали от нее он менее счастлив. Оба они были очень восприимчивы к соответствию их ума. Каждый раз, как молодая женщина соглашалась с какой-нибудь его мыслью, каждый раз, как ласково ему улыбалась, Пьер испытывал мгновение совершенной радости и хватал эти мгновения на лету.

Так проходила зима.

Жером больше не существовал для Сабины; она только хранила в сердце какую-то местную пустоту от этой любви, а эта пустота мешала ее твердости и равновесию.

Господи! как она, должно быть, любила этого человека, раз и теперь еще, глядя на него, она радовалась от мысли: «Я гляжу на него – и мне не больно, я слышу его голос – и живу!»

Он оставался для нее чем-то лукавым и зловредным, и она никогда не могла

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
насытиться сознанием, что больше от него не страдает.

Пьер развлекал ее. Ей очень не доставало его в течение недели, которую он провел в Анзэне, в разгар рабочей стачки. Гордость за него утешала ее. Встречая в газетах его имя, приобщенное к мятежу, она думала о нем с похолодевшими руками спорщика и бойца.

Г-жа де Фонтенэ любила все связанное с толпой, весь бред, всю смуту, все внезапное великодушие, всю священную слабость ее криков.

Она представляла себе победу права и народные празднества, как у Мишле; высокое синее небо, ряды молодых деревьев, открыты сады и – посреди соломенных стульев и южных женщин в светлых холщовых платьях – громоподобного Дантона, с головой, запрокинутой в объятиях жаркой Революции.

Когда вернулся Пьер Баланс, Сабина забросала его нетерпеливыми расспросами; ей все хотелось знать: какой был город, какие рабочие и что говорили рабочие.

Пьер рассказал ей о гибели одного из них, убитого в кавалерийской атаке. Товарищи устроили ему торжественные похороны.

– Вот это – жизнь! – вздыхала молодая женщина. Она представляла себе всех этих рабочих, как рудокопов Константена Менье: голыми, потными, в парусиновых штанах, прилипших к телу.

– А пели там? – спрашивала она.

– Да, – отвечал Пьер, – Интернационал с его зловещими раскатами, Марсельезу...

– Ах! Марсельеза!.. – говорила Сабина. – Что за невероятный ритм мятежа! Что за призыв! Когда слышишь эти яростные, четкие ударения припева, не правда ли, кажется, что люди, все люди должны встать и пойти... Слышите, как они идут, как встречаются, как сливаются, как раздвигают улицы локтями... Они торопятся, их много, им нет числа... Как это удивительно, – добавила она тихо и медленно, – толпа... число... Когда вдвоем что-нибудь любишь – это любовь, когда сто человек это любят – это подвиг! Люди, требующие права на жизнь, на мысль, на хлеб, создают религию, символы... В нас просыпается какая-то мистическая сила при мысли о ржи, о хлебе. Бедный насущный хлеб смущает нас вплоть до мечты, также слово, книга, все, что дышит справедливостью и свободой...

Ее глаза на жарком лице горели.

– Не правда ли, – продолжала она несколько глуше, – героизм и чувственность – одно и то же, только героизм еще жесточе... Я сейчас вспомнила, как однажды зимой – я была еще почти девочкой – я нечаянно попала с гувернанткой на какую-то демонстрацию. Я уже не чувствовала холода. Вокруг кричали, пели. Все смотрели друг на друга, никто никого не знал, бедные, богатые, рабочие... все смотрели друг на друга глазами, идущими в сердце. Здесь и там взрывы таинственного смеха, как переключка собак в ночи. Рядом с нами были двое. Их толкали, они толкали, извинялись. Один был без шапки, в синей парусиновой блузе; другой, должно быть, студент; проломленная шляпа, длинная прядь волос на глазу. Я внезапно почувствовала к ним полное доверие, я говорила им что-то, запрокинув голову, чтоб они увидели в моих глазах мою душу... Мне хотелось, чтобы они видели мою душу... Господи, что это было в воздухе? Это было сильнее, слаще, жесточе всякой весны!..

И в полужакрытых, странных глазах ее проходили воспоминания и наслаждения.

Чувствуя так, она часто жаловалась, что «Социалистическое обозрение», которому посвящала себя Пьер Баланс, так переполнено вопросами политической экономики, цифрами и статистикой. Наглядная необходимость в них ее мало утешала. Она любила самоотдачу.

Мария с трудом входила в этот мир Сабины. Ее четкое, частичное понимание лишало ее широкого кругозора – следовательно, уверенности и обладания. Она не высказывалась, думая, что другие, очевидно, правы; но не чувствуя этого сама,

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
она, по свойственной ей совестливости, не строила на их утверждениях.

Жером, обыкновенно, говорил с Анри, которого слушал больше, чем других. Молодой человек, исполненный недоверия к новым теориям, успокаивался от этих умелых, невинных и туманных речей и от того, что в них не разбирался.

Впрочем, он неохотно занимался этими вопросами, слишком привыкнув отождествлять старые законы с изысканностью манер. Теперь он снова принялся за работу и радовался возвышенной нежности гармонии. А жена его радовалась тому, что он занят. Она любила его озабоченной любовью, дрожала за решения, которые он мог принять, и боялась этого ребенка, ставшего господином.

Он любил ее узко и сухо, насколько ему позволила его себялюбивая тщеславная душа.

Его работа над окончанием оперы дала ей большую свободу и возможность, как прежде, гулять с Сабиной. Молодые женщины были счастливы вдвоем, и Мария своей строгостью как бы усиливала умиление Сабины над работой Пьера Баланса.

В темной природе г-жи де Фонтенэ жила какая-то радостная невинность, благодаря которой каждое ее приключение казалось ей вначале прекрасным и совершенным. Отсюда, по временам, это острое, смутное, спешное наслаждение жизнью и терпение, с которым она довольствовалась сегодняшним днем, не требуя никакого определенного будущего. Любовь Пьера ее удовлетворяла. Она ходила с ним и Марией по музеям, церквям, старинным городским садам. Иногда, вечером, она проводила с ним час наедине. В комнате, освещенной мягким светом на уровне лица, шел прерывистый разговор. Кто направлял его, сообщал ему дрожь и подъем – оставалось неизвестным, так они оба были сильны.

Пьер охотно сводил общие вопросы на острие желания и любви. Он был почитателен с Сабиной. Единственным проявлением его любопытства, единственным его дерзновением были, по временам, его расспросы, несколько резкие и острые, несмотря на обходы, о вкусах, жизни и будущем молодой женщины.

Но эти вещи, произносимые просто и громко, казалось, исходили из уст исповедника или врача, и г-жу де Фонтенэ, после первого ее удивления, они уже мало смущали, волновали и радовали.

Однажды, видя, с какой страстью она прижалась лицом к букету роз, он сказал ей:

– Вы еще не знаете, какая в вас сила жизни. Вы разливаете ее, выдаете ее каждым движением.

Такие наблюдения, казалось, занимали, забавляли его своей пронизательностью, тогда как, по мнению Сабины, они должны были с ума его сводить, от нестерпимого желания и гнева. Ее оскорбляла эта его привычка прикасаться обыденными словами к тому, что увеличилось бы от сдержанности и молчания.

Однажды, в дождливый февральский вечер, он встретил на бульваре г-жу де Фонтенэ, искавшую фиакр. Он подозвал его и предложил молодой женщине отвезти ее домой; она, после некоторого колебания, согласилась, а он стал шутить, – так он теперь боролся с тайной и значительностью двойственных положений.

Он позаботился о том, чтобы ей в этой тряской карете со звенящими стеклами было удобно, попросил ее положить ноги на грелку с горячей водой. Г-жа де Фонтенэ благодарила его, но в эту минуту ей было не до тепла и холода. Она чувствовала себя нежной и рассерженной и слегка клонилась к спутнику, уже не зная, чего в нем ищет – защиты или опасности.

Пьер, которому никак не удавалось поднять до верху одно из стекол, беспокоился и скрещивал на коленях Сабины полы ее мехового манто.

Здесь, в этой карете, одна с ним, под его охраной – это его умиляло. Он положил руку на руку молодой женщины и нежно сказал ей:

– Мой друг!

Она, которая не могла знать, что Пьер сейчас счастлив, доволен, растроган,

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
исполнен нежности, закрыла глаза, чтобы лучше насладиться мгновением, когда этот голос, такой знакомый, смутится, сойдет с пути, войдет в великолепную неизвестность.

Пьер нежно повторял:

– Мой друг, – и защищал ее от ветра, входившего в неплотно закрытое окно.

Время от времени, при свете фонаря, г-жа де Фонтенэ, которая открыла глаза и молчала, видела лицо Пьера Баланса; и, вернувшись домой, думая о нем, удивлялась, что не застала у него этого мутного взгляда бродяги, этого вида – как бы сказать? – убийцы, который, она предполагала, бывает у мужчин в минуту внезапного желания.

Итак, она это чувствовала: Пьер доволен, счастлив...

Но этого ли она искала, этого ли хотела: давать другим счастье?

Нет, она была лучше. Она сама не любила счастья, она всегда хотела хуже, и особенно для Пьера она желала бы страдания. Глухая смута, поднимавшаяся мгновениями в сердце этого человека, слишком скоро терялась в его деятельном веселье. Любовь к Сабине была ему каникулами. В прошлом у него было много бурь, а теперь он входил в радостную пристань, где все длилось и возобновлялось, где ничто его не ранило. Удивление, испытываемое от этой новой жизни, возвращало его к юности, к беззаботности и безопасности детства.

До сих пор он всегда мучился из-за женщин, которых в один прекрасный день внезапно начинал желать, и всегда намеренно усложнял свою любовь. Он раздирал себе сердце об острие их взглядов, сочинял себе подозрения и ревность, плакал из-за неуволнимых неверностей их мыслей, кричал, вспоминая их кудри и руки.

Но все это кончилось, кончилось сразу, как в холодный дождливый вечер кончается лето, как кончается страстная молодость.

Какие-то возможности в нем иссякли. Его жадная душа, еще неведомо для него самого, решила отдохнуть. Отныне ему было суждено любить без этой неподвижности, этой ужасающей устремленности, узкой и цепкой, которая некогда делала для него из неопределенной, изменчивой женщины – единственную возможность наслаждения и жизни, тот оттенок воздуха родины, вне которого трудно дышать.

Теперь он говорил себе, что все они, приблизительно, одинаковы: подвижные, обманчивые и порочные. Оставаясь подле Сабины, он видел в ней только более совершенное воплощение этих бурь.

В женщинах он различал два главных двигателя: страсть и скрытность, у одной, как у другой.

Он говорил: «хитрость женщин», как сказал бы: «их нежные ласки»; в этом он видел свойство породы, одной у всех, без особых оттенков. Он плохо различал особенное, и Сабина очень быстро почувствовала, что любима не так, как ей бы хотелось, – за единую свою сущность, за эти особенности души и взгляда, которые любовь измышляет, чтобы лучше себя ранить.

Но г-жа де Фонтенэ в душе не жаловалась. Она чужла в дружбе Пьера неиссякаемые родники. Этого ей было достаточно. Раньше она была требовательной; со встречи с Жеромом Эрель она знала, что настоящее принадлежит не нам, что ничто не верно, и держалась за него, как за человека, который скоро умрет.

Но возвращение весны ее раздражало.

Она капризно говорила Пьеру Балансу:

– Как сделать, чтобы ее не было?

– Мы ее не увидим, если хотите. Ходите со мной в Национальную библиотеку, где я работаю. Вы будете гулять по рукописям и гравюрам. В жилищах науки воздух более благотворен, чем в лесу. Именно в эти залы нужно было бы уезжать на дачу: молчание и углубление в века делают из них самые таинственные и самые обширные

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
места в мире...

Но г-жа де Фонтенэ знала, что будет мучиться от весны, несмотря на все. Закрыв глаза, она чувствовала ее приближение: долгие часы ее, ее облака, распростертые на резкой синеве, и весь запах боярышника...

Невдалеке от нее, в лесу, кусты и связки деревьев, напоминавшие зимой вязанки хвороста, поднятые в дождливое небо, покрывались теперь по остриям ветвей зеленым посевом, крохотными листочками, клейкими и пахнущими скипидаром. И затем, часам к пяти, к вечеру, появлялся теплый ветер, от которого сжималось горло.

Грусть молодой женщины не нравилась Пьеру Балансу. Он боялся всего, что не смех, не понимание, не доверие. Зачем так усложнять жизнь, при желании такую уютную и легкую? Мария проще наслаждается всем этим; она по-настоящему внимательна, тогда как другая совсем уже разучилась слушать не раздражаясь.

Однажды вечером Сабина просто не захотела слушать, как Пьер объясняет Марии возрождение клеток.

– Уничтожит ли это уже через пятнадцать лет разрушение, старость? – говорила она. – Нет! Тогда при чем тут мы? Оставьте меня, дайте мне спокойно быть грустной.

Она была из тех ненасытных существ, у которых мало времени и которые все его целиком хотят употребить на счастье.

– Но есть другие радости, другие заботы, – возражал Пьер, – чем этот сон наяву и постоянные мысли о себе.

– Не для всех, – перебила Сабина, – для меня не существует степеней наслаждения. Есть только одно наслаждение: то, что делает больно.

Пьер смотрел на нее, старался понять, что она действительно думает, что – говорит нарочно. Он верил в вечное притворство женской мысли, в любовное письмо и кинжал под поясом, и смутно страдал от ее таинственности и склонности к темным иносказаниям: ибо она рассказывала что-нибудь о цветке, что-нибудь о детстве, чтобы высвободить хоть кончик души.

Пьер дружески-заботливо укорял ее, думал, что она больна, разъяснял ей, что жизнь и приключение еще используют ее скрытые силы.

Она пренебрегала его ролью наставника и исповедника. Так он, значит, ее любит! Почему он не любит ее за то, что в ней поистине таинственно: за ее глаза с несколькими наслоениями взгляда, за ее волосы, теплые, как жилы, ее черные, резкие волосы, пахнущие валежником и дымом, за ее душу. Господи! в глубине которой, под спутанными волнами, катится детский белый камешек желания.

Пьер Баланс советовался с Анри о том, как бы развлечь Сабину. Однажды вечером она, почувствовав их дружеский заговор, злым пронзительным и дерзким смехом, как локтем, оттолкнула их предложение увезти ее в деревню.

Мария упрекала Сабину за ее несдержанность.

– Плохо же ты платишь им, бедным, за их любовь, – говорила она, целуя ее.

– Плохо? – возражала г-жа де Фонтенэ.

И она чувствовала, что в ней встает от этого мертвого однообразия дней.

Но все же она стала следить за собой, изменила свое поведение, стала тише.

Она чувствовала нежность к Пьеру, они сделали друг другу больно, и теперь в ней просыпались угрызения совести, ужасные сентиментальные угрызения совести, как у ребенка, который в праздник, после подарков внезапно вышел из себя.

В чем она обвиняла Пьера?

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
В том, что он не умирает из-за нее, неприкосновенной, в том, что дышит воздухом ее жизни и дома и не сходит от этого с ума, вспоминая Вертера и Доминику? В том, что он любит Анри, своего старого друга, что сердечно говорит с Марией, что не скучает с другими, не лжет, не предает, не изменяет?

Ведь это же безумие, она это видела. И, нужно сказать, она уже не сердилась на него на общих вечерних прогулках, окруженная прелестью уже наступавшего лета. Она смеялась, она все время смеялась. Можно было таскать ее с собой по маленьким ресторанам на берегу озера, откуда вставал туман, сажать ее, голубыми ночами, за столик, по которому ползают мухи, – все ее забавляло. Ей было весело смотреть, как расставляют на ресторанной скатерти обычные *hors-d'oeuvre*; тонкие ломтики сырых томатов, ярких, как мясо, сельдерей, наверное хрустящий, как тростник, и сохранивший вкус земли, маслины, обернувшиеся вокруг своих косточек, и все эти маленькие серебряные рыбки, задушенные перцем.

И тем временем, как эти блюда переходили из рук в руки, музыка – богемская или неаполитанская – играла.

Музыкант-дирижер вел оркестр мановением руки, смеялся, как фокусник, когда удавались мелодии, единым знаком поднимал и опускал тона скрипок и выказывал себя таким знатоком человеческих нервов.

С лицом, усиленным лихорадкой, Сабина страстно вписала в себя эти мягкие романсы, которые, по скользким струнам скрипок, растягивали ее душу от наслаждения к томлению.

Но как она уставала!

Была ли она создана для этой жизни без внутренней передышки, в мишурном блеске стеклянных ресторанов?

Не была ли она, верней, человеком одиночества? Что она больше всего любила в жизни? Мечту, воображение, мирное однообразие дней. Конечно, она была когда-то счастливой, в начале замужества, когда столькими туманными желаниями населяла белую пустоту, когда медленно просыпалась утром, не зная, ни который сейчас год, ни сколько ей лет, – так благодать дней казалась ей бесконечной.

Как она когда-то любила летом сидеть перед горячим гравием сада и бегать осенью под красной листвой орешников, где сверкали, крепко пришитые к своим зеленым колпачкам, орехи из шелковистого дерева...

Она также любила некогда все, что в домах и в комнатах: летнюю зарю, пойманную в жестких ситцевых занавесках, и, когда откроешь октябрьским утром окно, первое дуновение ветра, пахнущего анисом и виноградом.

Она любила старые пузатые комоды и на круглом столе скатерть из бабушкиной шали, подушки с бахромой, каминные ширмы из жесткого фая, цвета сердечника, все вещи, хранящие душу г-жи де Саблиер, Люсилы и королевы Гортензии.

Не лучше ли ей было бы предоставить другим их вечерние развлечения и оставаться дома, устраивая себе мирную, мечтательную жизнь?

Но Пьер ее беспокоил. Минутами она не узнавала лица своего друга. Теперь, говоря с ним, она не решалась, как раньше, положить ему руку на руку.

Глухая раздражительность г-жи де Фонтенэ, ее нервность удивляли и огорчали Пьера Баланса.

Видя, что вокруг нее реет тревога, он смутно убоился пышных трагедий, для которых его сердце уже не годилось.

Он чувствовал себя обкраденным в дружбе с ней. Он был уже не так счастлив, совсем уже не был. Ему как-то вдруг стало трудно от этой нежной дружбы, которую он старался продлить, вопреки Сабине, очевидно, от нее уставшей. Тогда его душа, выбитая из колеи, бессознательно начала защищаться.

Г-жа де Фонтенэ, не хотевшая терять того немногого, что имела в жизни, – большой дружбы Пьера, удерживала его взглядами, более заботливыми, чем материнские руки:

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
удержать, не терять того, что имеешь, не упускать времени, сохранить любовь или дружбу, как в детстве стараешься удержать, продлить короткий божественный Сочельник... Она сама во всем виновата: если бы она все эти последние месяцы не огорчала, не расстраивала Пьера Баланса своим дурным характером, он бы еще был этим товарищем с глубоким сердцем и братским смехом; он бы еще был этим любопытным и сдержанным слушателем – тем, что ее так раздражало! – верным другом каждого часа и будущего, другом, которого она в душе упрекала за это спокойствие.

Теперь она его больше не понимала, и он уже не умел обращаться с ее душой. Не расставаясь, не переставая говорить друг с другом, они забыли друг друга, и теперь неловко пытались воссоздать прежнее понимание; но грусть Сабина и ее показное веселье и разочарование Пьера, переходившее в небрежность, ускоряли разрыв.

Сердечное горе у г-жи де Фонтенэ пробуждало в ее памяти самые отдаленные острые воспоминания. Все, что у нее было, с первого детства, разочарований и горя, возвращалось к жизни, и тогда она страдала поистине, как дети, чье сердце кидается в слезы.

С лицом и руками, мокрыми от слез, с душой, как ножом, перерезанной нежностью и слабостью, она говорила себе, что ничего не умеет беречь в жизни, что, должно быть, состарится и умрет, оттолкнув от себя все, вплоть до священной дружбы.

И вот уже она ни в чем не упрекала Пьера, только удивлялась тому, что она не видит, как ей сейчас больно и жалко и как нежно служит ему ее мысль. Она чувствовала себя грустной, добродетельной и мудрой, утомленной этим новым горем, потерявшей молодость сердца, но готовой жить терпеливо и благородно. Пусть Пьер еще раз подойдет к ней, она скажет ему все это и еще то, чтобы они – она, Анри и он – остались простыми и добрыми друзьями.

Недовольство, испытанное Пьером Балансом, усыпило его мысль и, пользуясь этим сном, его инстинкт увлекал его из тьмы, где орудовали тревога и усилие; он больше ничего не хотел. Испытав горе, он не заботился о том, что могла чувствовать г-жа де Фонтенэ.

Теперь г-жа де Фонтенэ по-детски старалась вернуть прошлое. Она устроила поездку на лодке, нанятой на целый вечер.

Были только свои: Анри, она, Пьер и Жером с женой. В минуту отплытия было еще светло, и на плоском серебре воды, таявшей и брызгавшей у кормы, алые и серые отсветы сумерек двигались и изображали волны.

По обеим сторонам Сены проходили холмы и откосы.

В Сюрене, Сэн-Клу и Севре виднелись маленькие виллы – старинные и жеманные, – усложненные итальянской живописью и мавританской резьбой; одна из них, известково-белая, с куполом и террасой, поистине воскрешала Восток, вызывая на спокойном небе кислый, растущий звук тунисской флейты.

На одном из холмов, выступая из частной зелени, какое-то прямое здание строгого стиля напоминало старинную гравюру и желтело, как пенковая трубка.

Обратный путь совершался в прелести тени, в тайне дымной реки, похожей на каналы Голландии. Прибрежные фонари и огни разлтых товарных барок погружались в оживленную воду и вытягивались, смятые и сборчатые, как горящая гармоника. Сабина, которую все волновало: шум воды, запах дегтя, красный фонарь вдаль, – думала о Пьере, чье спокойствие ее расстраивало, ибо ночь – так ей казалась – всем говорит одно.

Ужас, сладость желания и вы, поцелуи, которые Джульетта срывает с губ и бросает к звездам, и вы, соловьи, что плачете в кустах, и вы, лягушки, с вашим таинственным скрипучим криком на мягких прудах, усталых плоскими листьями, – не вы ли отчаянные души ночи, и те, кто вас понимают, не несут ли они в груди все ваши рыдания?..

Несколько дней спустя, когда Пьер объявил, что в конце недели уезжает на все лето в Бургундию, к брату, где будет работать – так как, по его утверждению,

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
потерял весь этот год, – Сабина сказала себе:

– Он нехорош со мной, но он вспомнит все в минуту прощания, всегда немного похожую на смерть.

И день настал. Пьер, занятый своим чемоданом, поездом и часами, уже не видел друзей, собравшихся для него на вокзале. Сабина держалась в стороне, предвидя минуту смущения и самозабвения, когда, держа ее за обе руки, Пьер Баланс, внезапно взволнованный, с глазами, полными воспоминаний, обменяется с ней своей глубочайшей сущностью; и тогда дружба восстановится путем писем.

Дверцы вагона уже закрывались, и Жером кричал Пьеру:

– Скорей! Скорей! Садитесь!

Тогда, забывая всю свою спешку и поезд, могущий тронуться, Пьер с лицом, покрытым тяжким облаком дружбы и острой тоской расставанья, обнял Анри и крепко прижал его к себе, потом пожал руку Жерома, долго-долго держал в своей – руку Марии и затем, ища Сабину, стоявшую позади всех, сказал ей:

– До свидания.

Он торопился, у него уже не было времени.

И Сабина поняла. Теперь он, как прежде, друг Анри и Марии, их добрый, верный, преданный друг; а для нее, для нее он – никто. Он окончательно забыл весь этот год; для других – он уезжал, от нее же он уходил, уходил навеки...

II

Г-жа де Фонтенэ, спокойная и усталая, собиралась к концу июля ехать с мужем в Дофинэ, когда получила письмо от ее отца, в котором он говорил ей, что болен, что проведет лето в Швейцарии и что хочет ее видеть.

С женитьбы г. де Розэ на этой молодой венке, с которой Сабина отказывалась знакомиться, она несколько раз встречалась с отцом в Париже; но, враждебные и замкнутые, они ничего не нашли сказать друг другу. Теперь она чувствовала, отношение ее изменилось: есть ли у человека право судить и ненавидеть, есть ли время сердиться на то, что делают другие? Кроме того, разве не естественно, что вторая жена ее отца вышла за него замуж, по всей вероятности, из-за его состояния и имени?

Она тоже когда-то была тщеславной. У этой особы, должно быть, не больше недостатков, чем у нее самой, а у нее они все, раз она грустна и несчастна. Она ясно сознавала, что добродетельные души, не знающие ни зависти, ни гордости, ни этого вечного чувствования себя, не спускаются в такие пропасти бессилия и томления. Она видела старых дев и вдов, которые жили одиноко и трудно, работали, бегали с рассвета по урокам, хранили целые ящики любовных писем – памяток оскорбленной и конченной любви! – и все же смеялись, с сияющим сердцем, при виде чужого счастья.

Г-же де Фонтенэ, в конце концов, пришлось примириться с отъездом Анри в Дофинэ, куда призывала его работа по выборам, назначенным на следующую весну. И тем временем, пока Жером, Мария и ее мать устраивались в своем замке в Узезе, она стала собираться к г-ну и г-же де Розэ.

Однажды утром, в начале августа, она вышла из вагона в Женеве. В воздухе стояла голубая сжатость. Мягкие волны озера приподнимали неподвижных лебедей и приводили их к самому острову Жан-Жака.

На белых стенах, тротуарах и высоких городских зданиях кипело солнце.

Г-жа де Фонтенэ взяла коляску и поехала в Ферней, где ее отец и г-жа де Розэ поселились в маленьком домике с садом.

Дорога вдоль воды, цветущей равнины и виноградников была очаровательна, но Сабина наслаждалась ею не вполне, озабоченная своим будущим поведением с г-жой де Розэ, которую, по рассказам, представляла себе острой, розовой, ярко-белокурой, с узкой талией и стальными движениями.

Проехав через городок Ферней, звонкий от шума фонтанов и крика школьников, Г-жа де Фонтенэ остановилась у деревенской калитки, затененной елками. Она толкнула деревянную задвижку и пошла по дорожке из гравия, немного подымавшейся по направлению к дому; розовая ее юбка, отягченная внизу кружевами, тащила за собой камешки. Она заметила, какая таинственная бездна мха, черной земли, запаха сырости и маленьких грибов живет под низкими ветвями темных елок.

В жарком воздухе середины аллеи молчание как бы пряло пряжу из солнца и меда, и беспокойный полет насекомых помогал ему неуловимым звуком прялки.

Высокие стебли цветов в привольной траве, зеленая тарелка львиного зуба и острия аржанца сверкали, покрытые тонкой испариной.

Г-жа де Фонтенэ поднялась по каменным ступенькам крыльца, осененного аркой винограда, и увидела прямо перед собой, в глубине маленького коридора через открытую дверь гостиной – женщину, которая быстро встала, уронила вышивание и ножницы и пошла к ней навстречу.

Эта молодая особа, казавшаяся суровой, со своими зачесанными назад волосами, прямым взглядом и негнущейся талией, оставила ее равнодушной.

Они любезно поздоровались, и Сабина, думая скрыть свое смущение многословием, стала беспорядочно рассказывать свои дорожные неудачи, нагромождала слова и неловко смеялась, положив обе руки на руку другой.

Но Г-жа де Розэ, которая из вежливости продолжала улыбаться, казалось, была оглушена этой порывистостью, так непохожей на ее привычную сдержанность и холодность, свойственные, по ее мнению, всем благовоспитанным молодым женщинам.

Сабина почувствовала, что удивляет; тем не менее вся осанка Г-жи де Розэ была такой искренней, такой спокойно-сосредоточенной, что она не рассердилась на это спокойствие, походившее на выговор. Внезапно чувствуя себя рядом с этой женщиной, старшей ее только на два года, почти ребенком, и сдерживаясь всем существом, она спросила ее, дома ли сейчас отец и может ли она его видеть, так как, желая удивить его, не предупредила о часе приезда.

Г-жа де Розэ ответила, что он, должно быть, пишет в своей комнате и что дочь его застанет его в добром здоровье.

Она с большой простотой и вежливостью провела Г-жу де Фонтенэ по блестящему трескучему полу через весь дом и, остановившись у одной из дверей и не открывая ее, позвала своего мужа. Он быстро вышел, обнял дочь, поцеловал ее, посмотрел на нее и снова поцеловал.

– Видишь, Алиса, – сказал он, обернувшись к жене, – не говорил ли я тебе, какая она хорошенькая?

– Да, – ответила Г-жа де Розэ с видом пансионерки, широко теперь улыбаясь глазами и ртом.

Стали уговаривать Сабину поселиться на даче, но она утверждала, что отлично устроится с горничной в маленькой гостинице ферней и что это также будет удобней в дни приезда Анри.

Она обещала каждый день обедать у отца и оставаться возможно дольше.

Было около часу; сели за стол.

Сабина успела только снять с себя желтую соломенную шляпу, покрытую лютиками, и поправить руками перед зеркалом спутанную прическу. Кокетство, с которым она всегда представляла на женский суд, которого боялась, должно было на этот раз, в виде позднего часа, примириться с этим единственным охорашиваньем и скукой этого платья, всего измятого от ночи в вагоне.

Г-жа де Розэ, поддразнивая ее, говорила:

– Так очень хорошо, не беспокойтесь, идите! Видно было, что сама она, выйдя из

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru будуара, где проводила ровно столько времени, сколько требовала прическа и необходимое одеваньё, уже никогда об этом не думала.

– Вы не занимаетесь своей наружностью? – спросила Сабина, оглядывая ее прямую, хорошо одетую фигуру.

– Нет, – сказала г-жа де Розэ, с удивленным смехом, считая, очевидно, кокетство малым девичьим грехом, который после двадцати лет смешон и странен.

Маленькая столовая понравилась Сабине. Она была из еще свежего дерева и пахла смолой. Комната выходила в заросший угол сада. Сосновые ветки подходили к окну так близко, что на одной из них, более тонкой и подвижной, можно было видеть, у самого стекла, пушистую, пышную птицу, отдыхавшую среди зеленых игл и маленьких шишек.

Ни в доме, ни на воле – ни малейшего шума, только некое глухое потрескивание, как если бы молчание отмечало час и время и глотало их маленькими равномерными глотками...

И скоро – послеобеденный час, скоро – сумерки, скоро – вечер в деревне.

На другой день после приезда Сабины г-жа де Розэ, давая ей зонтик, чтоб идти с ней в сад, сказала:

– Теперь, когда мы немножко познакомились, зовите меня Алисой, да?

И это вопросительное «да» было прелестно: нерешительно и властно зараз.

Разница возрастов г-на де Розэ и его жены не удивляла, таким он выглядел оживленным и счастливым рядом с ней, более сосредоточенной и рано созревшей.

Сабина почти ничего не знала о прошлом своей новой подруги; она узнала от нее только то, что она рано осталась сиротой, воспитывалась у теток и потом вышла замуж по любви. На вопросы Сабины г-жа де Розэ отвечала: «Не будем говорить обо мне, хорошо?» – с простотой, свидетельствовавшей об искренней привычке никогда не говорить о себе и никогда не жаловаться.

Г-жа де Фонтенэ начала испытывать счастье, для нее, может быть, самое настоящее. Всегда в один и тот же час она приходила к отцу, которого заставляла читающим что-нибудь со своей почтительной и прилежной женой. Иногда она улавливала между ними один из тех бесконечно добрых взглядов, которыми один человек всецело принимает другого.

Чем больше Сабина узнавала молодую женщину, тем больше увеличивалось ее уважение к этой истинной дочери древней Германии, где белые сказания, подобно прекрасным аистам, населяют очаг человека.

Они нравились друг другу; они устраивались рядом, на садовой скамейке, у зеленого деревянного стола; одна вышивала, другая читала; иногда они одновременно останавливались, чтобы поглядеть на нежное лето и сказать несколько неопределенных, отрывистых слов, не выражающих цельной мысли, но открывающих все тайники сердца. От времени до времени с пушистой чашечки какого-нибудь полевого цветка поднималась бабочка – душа благоухания.

Г-жа де Фонтенэ заражалась задумчивой мечтательностью подруги, делалась, как сестра, в объятия которой сбегались все мысли другой.

Они уважали друг друга. Г-жа де Розэ ценила теперь в Сабине порыв и вспыльчивость; она была из тех, склонных к добродетели, женщин, принимающих страстность за наивысшую человечность и верящих, что всегда она – во благо.

Их обоюдная сдержанность была нежна и очаровательна; они пытались узнавать друг друга, помимо слов, и не утешали, а щадили друг друга.

Подчас они смеялись, как девушки, которым каждый день приносит счастье; природа казалась им родной и таинственной, как в сказках, и слива, упавшая с дерева к

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
ним на колени, радовала их, как подарок.

– Я очень верю в сказки, – говорила г-жа де Розэ, улыбаясь, и, действительно, вне ее благоразумия, ее сердце в них верило.

– Почему невозможно, – продолжала она шутя, – чтобы карлики в длинных колпаках приходили по ночам пить росу из горькой чашечки львиного зева?..

И Сабина вспоминала, как и она когда-то любила нескончаемую повесть о семействе улиток, жившем в траве, под крышей из морских листьев.

– Ваши французские сказки, – говорила г-жа де Розэ, – кажется, не так подробно знакомы с огородом, ульем, мышеловкой, как наши...

– Правда, – отвечала г-жа де Фонтенэ, – наши сказки, наши прекрасные сказки Перро рассчитаны на маленьких мужчин и маленьких женщин, которыми и являются во Франции дети. Это – повествования без всякой невинности, говорящие о тщеславии, о зависти, о расточительности, о любви. Есть в «Ослиной коже» принц, который умирает от воздержания и вкуса пирога, изготовленного ручками его возлюбленной. Чувствуется, что платье цвета луны и платье цвета времени года вышли из лучшей мастерской того века... Эти сказки похожи на жизнь; феи в них появляются не иначе, как случай в жизни людей...

Анри де Фонтенэ, приезжая на несколько дней к жене, радовался счастливому влиянию г-жи де Розэ на Сабину и приятно отдыхал.

Сабина теперь так привязалась к маленькой фернейской даче, что не могла себе представить минуту отъезда. Она всем сердцем знала мостовую и лавки, теснившие и толкавшие друг друга вдоль узких тротуаров.

Проходя по площади, где стоял памятник Вольтеру – он, казалось, не стоит неподвижно, а только остановился на ходу, в беседе, – она испытывала ту почтительную нежность, которую пробуждали в ней большие судьбы, и радовалась, что городок посылает сюда своих детей играть и служанок черпать воду, на глазах у этого славного предка.

Настала осень; молодые женщины уже не сидели в саду с рабочими корзиночками. Кончилось лето, такое нежное ко всему живущему, когда на воле так же тепло, как в комнатах, когда аллеи – как длинные голубые цветущие коридоры домов, когда ночь в садах, нежнейшее жилище, когда ночь – лишь немного прохладней дня и только еще любовней...

Но они еще радовались. Осень сближала их сердца, как руки, греющиеся друг в друге. Они быстро шагали по дорогам, вдыхая свежесть. По маленькому хорооводу холмов проходили стада; их бубенчики задевали воздух и звенели. Горели костры из трав, и все пространство пахло дымящей крышей. Сбитые орехи, мягкие, вынутые каштаны, выскользнувшие из своей ежеподобной шкурки, устлали края дорог.

Г-жа де Фонтенэ замечала, на ходу, осеннюю землю, тонкую и сжатую, как сладкое тесто. Она была счастлива. Радость вырывалась из нее легким славословием.

«О, солнце, – думала она, – ты, что все облагораживаешь: и тяжелую равнину, где трудится лошадь и вол, и бедную грудку камней на проселочной дороге, такую блестящую и так похожую на золото, что она кажется богатством безумца, брошенным здесь, – о, солнце, сделай, чтобы я еще долго была невинной и спокойной, как эта стена, покрытая розовой льнянкой, как эта елочка, играющая с воздухом, пойманном в ее разлтых ветках...»

Насладившись по дорогам грустью сумерек, Алиса и Сабина снова радовались стеклянной гостиной, где пылал огонь; ветер бросал о стекла красный дикий виноград, свисающий с верхнего балкона.

Иногда г-жа де Фонтенэ говорила о том, что ее мучило в прошлом, о том, чего боялась в будущем.

– Нет, вы так уже не будете чувствовать, – говорила г-жа де Розэ.

И добавляла: «Не правда ли?» – чтобы другая сказала «да» и чтоб это было

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
обещанием, обетом, – что для нее являлось важным.

– Вы не знаете, – начинала Сабина сызнова, – как мне хорошо с вами! Мне бы хотелось жить с вами, не расставаясь, здесь, или в прилежной, протестантской Лозанне, которая на вас похожа. Вы – добрая...

– Я не добрая, – утверждала Алиса, имевшая представление о совершенстве.

Обе не любили думать о близком отъезде: г. де Розэ должен был на зиму уехать в Египет.

Когда понадобилось принять какое-нибудь решение, Сабина предпочитала уехать первой, чтобы не видеть, как закрывается дом, где она была счастлива, и как все разъедутся.

День расставания опечалил подруг. Они расставались надолго, не зная, смогут ли встретиться будущим летом. Ясно было, что разлука ничего не изменит в преданном сердце г-жи де Розэ. Она принадлежала к породе дочерей Франциска Салийского, всю жизнь беседующих с умершим ребенком. Она старалась, чтобы Сабина стала сильнее в жизни, и глядела на нее глазами матери, убеждающимися, что душа и тело маленького готовы к длинному пути.

С Сабинной она теряла свою нежнейшую радость, но не жаловалась. И, зараженная этим примером, г-жа де Фонтенэ, в минуту прощания, ушла так же просто, как если бы завтра же могла вернуться...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

...если подумать об их природной робости и о крайнем ужасе их перед смертью!

Мишле

I

По возвращении г. и г-жи де Фонтенэ в Париж жизнь улучшилась для обоих.

У Сабины от встречи с г-жой де Розэ оставалось ровное настроение. Он, которого ничто не удивляло, только радовался. Сердце жены он сравнивал с погодой, которой не предскажете и не измените. И он так же легко сживался с радостью, как с равнодушием и утратой.

Счастье Сабины он, казалось, принимал за личную удачу. Когда Сабина переставала быть счастливой, удача уменьшалась, и он переносил это легко.

Иногда, по вечерам, маленькая гостиная, выходящая на обсаженную деревьями улицу, наполнялась, несмотря на закрытые окна, запахами с воли: запахом ночи и тумана, к которому присоединялся еще привкус горячей каминной золы. И это напоминало Сабине каштаны, которые она, в детстве, клала в огонь и которые так же пахли.

Она говорила Анри:

– Теперь нам нужно было бы детей, чтоб они возле нас играли.

Раньше она надеялась, что дружба с г-жой де Розэ будет ей поддержкой. Но г-жа де Розэ писала редко, и только короткие, простые письма. Доброта ее была в поступках.

Все же Сабина была довольна. Так прошло несколько месяцев.

Однажды утром к ней вошел муж и сказал:

– Ты сегодня сделаешь для меня одну вещь. Представь себе, что к пяти у меня свидание с Филиппом Форбье, которого я должен попросить об одном одолжении. Но я почти ослеп от гриппа и никак не могу пойти. Пойди, пожалуйста, ты.

– Господи, – ответила Сабина, – я уже и так устала, а теперь еще это! Нет, это невозможно. Я не знаю твоего друга, и он меня не знает, – что я ему скажу?

– Ну, пожалуйста, – перебил Анри, – будь милой, это так просто. Ты скажешь ему, что я в отчаянии и что прошу его передать тебе рекомендательное письмо для брата

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Пьера Баланса, который хочет посетить берлинские университеты.

– Нет, – еще раз ответила Сабина. Она капризничала, объясняла ему, что действительно устала за последнее время. Она сердилась.

Но так как Анри, сжав руками голову, жаловался на боль и все еще настаивал, она обещала ему, что пойдет после пяти на это свидание и принесет письмо.

Будучи до этого занята, она немного опоздала к Филиппу Форбье и всходила по лестнице недовольная и смущенная.

Она подождала несколько секунд, потом ее ввели в жаркую, загроможденную комнату.

Она смутно увидела мужчину, который встал и поклонился, не глядя, с видом вежливым и отсутствующим. Очевидно, она ему помешала.

Смеясь, чтобы разогнать смущение, она сказала:

– Я г-жа де Фонтенэ... жена Анри де Фонтенэ... которого вы знаете; меня вы не знаете.

Он слушал ее молча, наклонив голову, как бы говоря, что хорошо ее понял и что ему еще нечего ей ответить.

Тогда, почувствовав равнодушие этого человека, она быстро передала поручение Анри, и Филипп Форбье ответил, что сейчас напишет письмо. Он стал писать. Сабина видела его со спины. Он вышел из комнаты за какими-то адресами.

Г-жа де Фонтенэ, оставшись одна, стала осматриваться. Лампа на письменном столе, несмотря на розовый фарфоровый колпак, так ярко горела, что грела, должно быть, как печка. И камин горел; красные угли в нем пылали и двигались. После дождливой холодной улицы Сабине эта жара показалась чудесной.

Она подумала:

– Как это прекрасно – люди, которые все время работают, которые ничего другого не делают...

Она уже совсем привыкла к этой глухой, сосредоточенной комнате. Большое темное ковровое кресло она рассматривала так, точно собиралась всегда в нем сидеть.

И вдруг она подумала:

«Господи, сейчас же этот человек вернется, даст мне письмо, простится, и я с ним прощусь, уйду... Никогда больше не увижу этой комнаты, в которой, чувствую, могла бы жить... И опять на улице будет холод, и все кончится...»

Она подумала еще:

«Что бы такое рассказать сейчас, чтобы не так скоро, не так сразу уйти...»

Она заметила на столе старинное издание «Опытов» Мишеля Монтеня.

Филипп Форбье вернулся. Он подал ей готовое письмо.

Он спросил ее:

– Вы любите книги?

И пошел за томом Данте.

Она тихонько вынула его у него из рук, открыла и голосом, таким нежным, таким горячим, воскликнула: «Ах, как чудно!» – что он впервые взглянул на нее. Он нашел ее тщедушной и взволнованной. Она несколько привлекла его внимание; покорная, как девочка, она следила за всеми строчками и гравюрами, которые он ей показывал; мгновениями она отодвигалась от него, как бы смущаясь и робея.

– У меня есть еще другие книги, которые вам, может быть, понравятся, – сказал

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
он.

Она ответила в отчаянии:

– Господи, у меня больше нет времени, но я могу еще прийти.

Она подумала и продолжала:

– Я приду к вам через неделю, в четверг, если это вам не мешает.

Выходило десять дней. И она прибавила:

– Немного после пяти.

Филипп Форбье ответил:

– Если вам будет угодно.

Он уже перестал о ней думать.

Сабина сказала «до свидания», протянула ему руку. Она увидела его только при прощании; она еще ни разу, за все время, на него не взглянула, но, как вошла, почувствовала, какой он...

Вечером она рассказывала Анри:

– Я думаю о твоём друге; это сумасшедший; ты мне не сказал, что он, несмотря на свои сорок три года, выглядит молодым и что он похож на героев Революции. Он живет в огне и книгах. Он хотел показать мне какие-то издания, но мне уже нужно было идти, на днях я к нему еще пойду.

В назначенный день, после четырех, г-жа де Фонтенэ оделась, чтобы идти к Филиппу Форбье.

Ей бы хотелось не идти, это расстраивало ее день, она была усталой, но, не имея времени предупредить его и боясь, сама не зная почему, показаться ему капризной и ненадежной, она все же оделась и пошла.

Ее ввели в ту же комнату.

Филиппа еще не было. Было так жарко, что она сняла шубу и положила ее на стул.

В черном мягком бархатном платье и шляпе с длинными перьями она выглядела, как паж.

Когда Филипп вошел, г-жа де Фонтенэ, решив больше не стесняться, начала говорить и оживленно двигаться. Она жаловалась на холод и так близко подсела к камину, что Филипп испугался; но она рассмеялась и сказала, что не боится огня, что это добрая, дружественная ей стихия, что она охотно положила бы в него руки...

Подняв глаза на стоявшего Филиппа, она добавила:

– Я вам ужасно мешаю, я прихожу и мешаю вам, а вы так заняты... Садитесь, – продолжала она, – если вы не сядете, и мне нельзя будет так у вас сидеть.

Ей захотелось спросить его: «Я вам не надоела?»

Но не посмела, чувствуя, что этот человек не любезен и сможет ответить, что она ему не надоела, но что он очень занят.

Она заговорила об Анри. Филипп, казалось, не особенно его помнил, и Сабина, обидевшись за мужа, замолчала.

Потом она сказала:

– Пожалуйста, покажите мне книги.

Он ответил, что у него довольно хорошее собрание, оставленное одним его другом,

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru и повел ее в библиотеку. Он извинился, что лестница, ведущая туда, очень узка и темна.

Когда он снова вернулся, Сабина, которая чувствовала, что надо уходить, что Филипп ее совсем не удерживает, увидела на камине несколько восковых статуэток.

– Вы лепите? – спросила она.

Он ответил, что да, что лепит и рисует, когда есть время.

Она продолжила;

– Как вы думаете, хорошо мне будет заняться скульптурой? Я так скучаю...

Бесконечное и трогательное доверие было в ее голосе. И прежде, чем он смог ответить, она добавила, придерживая на плечах шубу, которую уже надевала:

– Ах, у вас чудесная жизнь, вы работаете, вы все знаете, я тоже хотела бы все знать. Вы, может быть, думаете, что я занята пустяками, но я с детства от всего страдаю. Так что же делать, когда так все чувствуешь, когда это – болезнь? Даже музыка меня ужасно мучает...

Филипп Форбье, куривший, предложил молодой женщине папиросу. Ему казалось пристойным и скромным не слышать того, что она говорит о себе.

– Да, – вздохнул он, – я много, до ужаса много, работаю.

– Вы пишете книги? – спросила она.

– О! – ответил он. – Вам они будут очень скучны. Философия, медицина... Не думайте о них, в них все слова, которых вы не понимаете...

Она спросила еще, где и когда он читает лекции. И затем, с большим трудом заставила себя уйти.

II

Однажды в субботу к пяти часам она отправилась к Коллэж де Франс. Ветер захлопнул за ней дверь, и она вошла в жаркую, серую залу, где стоял душный тяжелый запах толпы.

Через головы учащихся она увидела Филиппа Форбье, рисовавшего на доске нервную систему.

Она села. Она смутно понимала, что речь идет о волнениях, о боли, о каких-то смертельных мозговых повреждениях.

Слыша, как он повторяет слова «боль», «сердце», «сокращение», «недуг», и многое пропуская, ей казалось, что этот человек говорит исключительно о любовной страсти, о страсти болезненной, врожденной, кровной.

Она чувствовала себя взволнованной и буйной...

Прошло несколько дней. Г-жа де Фонтенэ спрашивала себя, зачем сегодня в третий раз пойдет к Филиппу Форбье.

Проезжая, неподготовленная, по темному Парижу, она думала о том, что сейчас ему скажет: скажет ли, что очень заинтересовалась его лекцией, или попросит у него адрес какого-нибудь скульптора для уроков ваяния.

Но ей не пришлось об этом думать. Филипп Форбье встретил ее иначе, чем в другие разы, он подошел к ней с улыбающимся, открытым взглядом. Г-жа де Фонтенэ, освобожденная, внезапно почувствовала, что становится счастливой, невероятно счастливой.

Уголь горел, лампа горела, и Сабина видела тысячу красных и желтых огоньков.

Что это было за счастье? Она не сумела бы в точности выразить. У нее было чувство, что, будучи на земле очень одинокой, очень усталой, очень бедной и

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
очень слабой, она вдруг встретила человека творчества, силы и наслаждения.

Она весело заговорила; она объясняла Филиппу волнение, испытанное на его лекции. Он глядел на нее с тихим и глубоким восторгом; все в ней его восхищало: ее подвижные веки, ее круглый подбородок, ногти ее быстрой руки. Теперь он знал все розовые и бледные тени этого прелестного лица. Он смотрел на нее; она все время двигалась. Тень ее тяжелой шляпы давила ей на лицо, низко спускала огромные глазные впадины, и черная вуалетка из тонких перекрещенных нитей заключала, как за решетку, ее рот, ее запретный рот.

По всякому поводу она говорила ему:

– Значит, вы, правда, так думаете?..

Казалось, что она ждет от него каких-то новых дорог, каких-то новых верований, и Филипп, не знавший еще, что ничто в мире не поколеблет в ней собственного убеждения, входил в подробности, старался.

Сабина слушала, от всей души приносила в дар этому человеку свое внимание.

Радостное возбуждение, испытанное ею здесь с самой минуты прихода, ослабило, обессилило ее, и теперь это внимание ее утомляло, утоньшало ее лицо. Она сидела под лампой, чей блеск, казалось, ее ранил.

Она больше не говорила, тихонько проводила рукой, затянутой в перчатку, по краю стола, все повторяла это неслышное движение; и ее тонкие ноги, очерченные бархатной юбкой, оставались вытянутыми, неподвижными, бессильными, – такими, казалось, терпеливыми...

Глубочайшей душевной хитростью она угадывала, что эта немая, безжизненная поза должна раздражать Филиппа, только что видевшего ее живой, подвижной.

И правда, молодая женщина его в эту минуту таинственно тревожила, как нечто, что двигалось и больше не движется...

Он глядел на нее с желанием и гневом.

Он сердился на нее за внезапную изысканную медлительность всех ее движений; это оцепенение делало ее одновременно хрупкой и жесткой. Плечо Сабины под бархатным рукавом казалось несколько острым, и все ее тело должно было быть тонким и гладким, как распятия из слоновой кости.

Теперь она на самом деле испытывала усталость, в которую сначала играла; сознание необычайного, какое-то странное всеобъемлющее наслаждение и слишком яркий свет ее угнетали.

Она вдруг сказала:

– Я не знаю, что со мной, мне нехорошо, может быть, жара...

Филипп, желая помочь ей, придвинул к камину экран. Она приняла это за невнимание. Это огорчило, встревожило ее, чуть не свело ее с ума.

Ей, как утопающему, в отчаянном видении показалось, что она ошиблась, что Филипп не обращает на нее внимания, что нужно отказаться от этой мысли.

Это смятение тянуло ее за сердце, вырывало его. Она почувствовала необходимость убедиться перед отходом, – но как?

Она больше не думала; в ней действовал инстинкт. Она опустила, закрыла глаза, все вокруг было слишком ясно... И, сердясь на бегущее время и на то, что сама делает, сказала, стоя, почти что с гневом:

– Уверяю вас, что мне нехорошо. Ах, Господи!..

И запрокинулась над столом.

Он подхватил ее, прикоснулся рукой к ее шее, чтобы растянуть сжимавшую ее ленту,
Страница 57

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru и она увидела, как горят его глаза между ресниц, и почувствовала, как дрожит его рука... Тогда она совсем повисла на этой руке, перестав опираться о стол, еле касаясь ногами земли. Она нарочно делалась тяжелой, и две ее холодных, ледяных, сухих руки сжимали рукав этого человека, царапая этот рукав...

Так она стояла, погруженная в сладострастный сон, почти засыпая.

Она только говорила себе:

– Какие у меня сейчас, должно быть, бледные руки, должно быть, ужасно бледные.

Это вставало в ней ясным и властным белым видением.

И Филипп отрывал ее от себя, еще более помертвев, чем она.

Он повторял:

– Я сейчас принесу вам воды.

И сильной рукой держал ее за пульс.

А она уже ничего не боялась, ни жизни, ни смерти, теперь она была уверена в нем... Она выпрямилась, стала уверять, что ей лучше, что совсем хорошо, что во всем виновата жара, что она может идти домой.

И еще немного слабая, она, уже независимая и оживленная, мило извинялась, смеялась, говорила, что здоровье женщин – нелепо, что от него всего можно ждать.

– Да нет, да нет же, – говорил он недоверчиво. В дверях она еще раз обернулась:

– Да, я забыла... я уезжаю на днях в деревню; когда я вернусь, я приду посмотреть вашу мастерскую – это на улице Жан-Бар, не правда ли? Сегодня пятница, – ну, значит, ровно через месяц, к четверем, я буду у вас в мастерской.

Она стояла, понимая, что вся жизнь ее может уйти на то, чтобы не расставаться с этим человеком.

И потом ушла, удивляясь всему.

III

Г-жа де Фонтенэ не собиралась в деревню; но в смятении ей явилась эта ложь, доказывавшая Филиппу, что у нее все же есть какой-то установленный порядок жизни, которого она для него не изменит. И это, одновременно, ставило ей самой довольно долгий срок.

Вернувшись домой, она больше не думала о том, что произошло, об этом обмороке на глазах этого человека.

Когда в ней, минутами, возмущалась гордость, она говорила себе:

– Я больше с ним не увижусь, вот и все.

Начиналась прежняя жизнь. Иногда, по вечерам, ей было хорошо с мужем у камина, где слабый огонь нежно шипел и извивался, как змея.

Воспоминание о доме Филиппа Форбье было для нее лишь источником жизненной силы, которую она тратила на свой домашний уют. Она отлично обходилась без него самого. Ее только удивляло, что он так близко, что живет с ней в одном городе и что для нее он тем не менее что-то далекое, туманное и желанное, как эти страны, куда так долго нужно ехать.

Ее желание было: спокойно и счастливо жить с Анри и немножко работать, чтобы жизнь ее была менее суровой и облагороженной книгами, как письменный стол Филиппа Форбье.

Зима, всегда ее утомляющая, расстраивала ее здоровье; с неделю она хворала.

Горячей рукой удерживая Анри на краю кровати, она, как всегда нежная и кающаяся

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
от слабости, посвящала его наполовину во все свое прошлое.

– Да, – говорила она, – временами я почти отходила от вас, я не всегда вас в душе любила, уверяю вас... Но теперь я чувствую, что могу совсем измениться; если хотите, начнем все сначала.

Анри, вместо ответа, говорил с ней шепотом, точно она в бреду, и уходил, неслышно ступая туфлями.

Оставшись одна, она плакала. Все на свете ей было противно.

Когда она смогла выезжать, то настояла на прогулке с Анри, но он не доставлял ей ни малейшего удовольствия: с мокрыми от холода усами и бородой он только и делал всю дорогу, что с ритмической точностью называл все, что видел.

А когда он на несколько дней уехал, она впала в еще большее отчаяние.

– Ах, умереть! – вздыхала она, точно это проще всего.

Ей пришло в голову, что в следующую пятницу ей надо идти к Филиппу Форбье в мастерскую.

Был четверг. Не послать ли ему два слова с отказом? Но не подумает ли он, что она помнит их последнюю встречу и боится новой? Тогда она решила, что пойдет. Ах, она, правда, могла идти, – все ей было до такой степени безразлично!

Мастерская Филиппа Форбье, расположенная в третьем этаже на улице Жан-Бар, была пустая и просторная комната, где валялись на полу воск и глина; обстановка состояла из стола, старого шкафа, полка с книгами и печки.

В высокое квадратное окно без подоконника смотрело в тот день серое изменчивое небо. В соседней комнате тоже была печка, еще ковры, диван и громко тикающие часы.

Г-жа де Фонтенэ ждала уже полчаса. Теперь было пять. Серое небо затемняло большой квадрат окна. В пустоте напротив шла какая-то стройка, и слышался печальный визг пилы по камню, грохот тачки и голоса рабочих.

Филипп познакомил Сабину с одним знаменитым скульптором. Это ее как будто обрадовало.

Чувствуя в комнате только присутствие Филиппа и находя его минутами таким прекрасным, что ей делалась тяжело и душно, она тем не менее говорила с другим, восхищалась им, вслушивалась во все, что он говорил об искусстве, о философии, о жизни.

Она точно не замечала Филиппа, держалась совсем свободно, совсем не казалась у него в гостях, все осматривала, вынимала из папок рисунки за белый угол бумаги.

Когда скульптор ушел, г-жа де Фонтенэ и Филипп Форбье внезапно смутились.

Он зажег в темной комнате газовую лампу, лампа эта под зеленым колпаком издавала огромный блеск, шумела, как большая бабочка, бьющаяся в окно.

Сабина, которой тоже нужно было идти, уже раскаивалась во всей своей комедии с Филиппом; ей хотелось объяснить ему это, сказать, что играла в это равнодушие сама не знает почему, – потому что всегда все делает не так...

Впрочем, она уже была жестоко наказана. Филипп не обращал на нее ни малейшего внимания. Он был очень любезен, но чисто внешне, и убирал рисунки в старый шкаф, стоявший у стены.

Сабина подходила к горячей печке, грела руки, немножко говорила. Она рассказывала, что была больна, что у нее внутренняя усталость сразу переходит в недомогание.

– Раз вы когда-то занимались медициной и сейчас еще имеете дело с клеточками, энергией, биологией и неизвестно еще чем, вы, правда, должны были бы мне

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
сказать, почему я скоро умру...

Он отбросил назад волосы, поднял глаза, которые уже ничего не видели, и, с лицом, одновременно рассеянным и вдохновенным, сказал ей:

– Вы сумасшедшая...

Он не смотрел на нее, смотрел куда-то в сторону, хотел, казалось, сделать что-то совсем другое. Но она ясно видела, что он идет к ней навстречу.

Она протянула ему обе руки и, смеясь, вздохнула:

– Я уйду, но мне очень грустно, и вы мне все-таки не сказали, как сделать, чтобы не было грустно.

Они прошли по комнате рядом; теперь Филипп стоял, прислонившись к шкафу, и держал перед собой Сабину. Он крепко, почти грубо держал ее за кисти рук и мгновениями взглядывал на нее. Она говорила, смеялась оживленно, беспорядочно и необузданно, ставя между собой и им, такими близкими, что-то быстрое и меняющееся, что не давало молчанию застать их врасплох, закрепить их смертельное ожидание.

Она боялась мгновения, когда больше не услышит собственного голоса; а он отвечал ей на все ее суетное многословие, – так ясно и нетерпимо звучали ее слова.

Она двигалась, движения ее век, ее шеи, всего ее существа делали ее, в глазах Филиппа, отдаленной и свободной, хотя он и держал ее.

Он не знал, что и думать об этой женщине, у которой слова противоречат взглядам, взгляды – движениям.

С минуту они оставались так. Филипп, очевидно, думал, потом сразу резко отпустил руки Сабину и, с лицом, опущенным и упрямым, вдохнув в себя изо всей силы – глубоко и отчаянно – воздух, сказал ей:

– Уходите... зачем вы пришли?... разве я вас об этом просил? Я вас ни о чем не просил... Вы заставили меня слушать вас, взять на себя вашу отравленную жизнь. Разве я вас спрашивал о том, что вы любите, чего не любите?... Какое мне было дело до ваших радостей и печалей?... Мне до вас не было дела... У меня было то, чего я хотел, я ничего не хотел другого. Еще месяц назад я был спокоен... Ах! в первый раз, когда вы вошли, когда заговорили, я сразу увидел, что вы – опасная и скверная... Вы сами знаете, как смотрели на меня своими яростными глазами; но я забывал о вас, когда вас не было; я о вас не думал, я только смутно чувствовал, что вы живете; где и как – это меня не касалось. Это вы все возвращались... Вы взвалили на меня все мгновения вашей жизни, все ваши тайны, тайны, которые были в ваших глазах, более ясных и обнаженных, чем все слова... А теперь вам хорошо, вы довольны, и все кончено... Значит, уходите, идите, пожалейте меня хоть так.

Но она оставалась, еще более мрачная, чем он. Они уже не смели приблизиться друг к другу. Она чувствовала что-то сладкое и тяжелое, что окружало ее, облегалo ее, как волна, и, подымаясь вдоль тела, заставляло ее откидывать голову, расширять ноздри, чтобы только еще дышать, не задохнуться. Глаза ее были пристальны и сужены, губы слегка обнажали сжатые зубы. Она точно вонзила их во что-то восхитительно-сладкое.

И потом страдальческая гримаса проходила по этому лицу, брови сдвигались. И это было, как крик, который разрешает боль.

Филипп снова подошел к ней и снова взял ее за руку, он держал ее за кисть и локоть; рассеянно, к чему-то прислушиваясь, он сжимал эту волнующую руку, как если бы хотел ее сломать, как если бы в этом – в это мгновение – все.

Сабина, неподвижная, смеялась новым, тихим смехом. Она говорила:

– Сломайте мне руку, что же вы не ломаете, я всегда хотела, чтобы мне делали больно...

Все ее черты изменились. Она чувствовала, что все ее лицо, в эту минуту, обратно

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
ее душе, что смех ее – уже не от веселья или радости, а от пронзительного, глубокого волнения.

Она пошатнулась вправо, потом влево, она чувствовала страшную тяжесть в голове и, наконец, упала на Филиппа.

Он был только немного выше ее, и так как стоял, слегка нагнув голову, их лица окончательно встретились...

С этого мгновения вдоль ее души, вдоль всего ее существа опустилась – между ним и ей – большая тень, делавшая ее застывшей и замкнутой. Она уже не боролась. Она ничего ни хотела, ни не хотела; это была душа, которая не отвечала. Все ее взгляды обратились внутрь.

Выбора больше не было. Она сознавала, что то, что кончается сейчас, на груди этого человека – есть точная и невольная чистота ее жизни, невинность ее тела.

Это не изумляло, не потрясало ее, она это просто ощущала: это была мысль, сквозившая сквозь другую. Она не делала ни единого движения. Прикосновения лица и одежды, запах волос и табака были ей откровением. Такого изумления от объятия, такого неведения мужчины у нее не было, когда она выходила замуж.

Филипп слегка отодвинул ее, и взгляд его был так тяжел, что Сабина всем телом почувствовала, что умирает.

Она с быстрым и полнейшим буйством пожелала, чтобы не было у него больше ни этих глаз, ни этой улыбки, ни этого голоса, ни малейшего из этих движений, ничего, ничего этого, что так восхищало ее и так ранило...

Тогда она, со страшным напряжением воли, бросилась к нему на грудь, как об стену, о которую хотела бы разбиться.

Он поднял ей голову и заботливо, глубоко – как пьешь во время жаркой жажды – поцеловал ее в губы. Она вбирала этот поцелуй. Их смешанная жизнь спускалась, стекала тепло и тихо от одного к другому.

Сабина чувствовала себя одновременно мертвой и упорной.

Филипп, спрятав в нее голову, увлекал ее, шепчущий и страстный; она не смотрела куда. Отныне она всем существом вверялась всему, что он когда-либо захочет.

IV

Вечер того дня Сабина провела спокойно. Вернувшись домой, она быстро оделась и занялась гостями, пришедшими к обеду.

Ни разу в карете, под звон дрожащих стекол, ни разу теперь, среди обычной обстановки, она не сказала себе, что у нее – любовник.

Как эта резкая, сногшибательная формула, этот дерзкий вызов могли бы подойти к мгновению столь неизбежному и столь нежному, что оно казалось осуществленным желанием самой судьбы.

Смеясь и болтая с друзьями, делая все, как всегда, она чувствовала огромное успокоение. Радостная гордость вставала в ней, и душа ее, наконец, делалась совершенной, как цветок. Это было утешением за все ее прошлое. Только отсутствие Анри ее немного тревожило, с ним ей было бы спокойнее.

Почти каждый вечер после четырех она подзывала карету, бросалась в нее и ехала к Филиппу Форбье. Париж, в синеватых сумерках, казался ей маленьким, мир – простым. Она знала малейшие подробности дороги. Улица Ансьен-Комеди, приближавшая ее к дому Филиппа, уже волновала ее темным волнением.

Иногда она приезжала первая и ждала. Она любила это ожидание. Ей казалось, что она его не вынесет и что друг ее, когда сейчас откроет дверь, найдет ее упавшей головой на руки, прямо мертвой от нетерпения. Дверь открывалась, Филипп входил. Г-жа де Фонтенэ смотрела на него издали, прищурясь, как смотришь утром на

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
солнце, входящее в комнату... Потом что-то резко сталкивало их. Сабина неподвижно смеялась. Что-то нежной волной проходило по ее обмирающему телу; когда она в детстве слишком высоко взлетала на качелях, воздух вокруг нее так же рассекался, – и она падала в то же нестерпимое блаженство.

Они шли, садились, никак не могли разъединить рук.

Жажда друг друга покрывала их, сосредоточивалась в каждой частичке их существа. Они не смогли бы отвернуть друг от друга ни головы, ни глаз, ни дышать иным воздухом, чем дыхание друг друга.

Пламя, красневшее сквозь щели дверцы, выдыхало жару, тяжелую, как пар. Огромное молчание стояло в комнате. Сабина в каком-то оцепенении, точно слышала еще минутами острый звук пилы о камень. Она была так счастлива, что временами ей казалось, что она уже умерла. Иногда она плакала. Руки и волосы ее висели. Она задыхалась, как если бы наглotalась счастья... Вещи вокруг нее сияли. Часы с музой из медной бронзы, казалось, испытывают то же вечное блаженство.

Било шесть. Грусть и тревога последнего краткого часа охватывали Сабину.

В полутемной комнате, где пахло водой, гуашью и эссенцией, она, запрокинув голову на грудь Филиппа, тихонько жаловалась. Мысли и ощущения их напрягались и разбивались одновременно. Они были чудесно устроены друг для друга.

Толедо, где они оба не были, но куда оба рвались, зажигало в их глазах то же отчаяние.

– Господи! – говорила Сабина. – Как все это нам делает больно, и мне еще больней, чем вам!

Филипп Форбье соединял со здоровым и страстным чувством жизни – острую и нежную восприимчивость, которая все же производила впечатление выносливости и силы.

Самым странным свойством его было – умение удлинять и утоньшать ощущение, не разбивая его, до тончайшего изгиба.

Они вечно оставались друг для друга тайной. Филипп спрашивал молодую женщину, как она его полюбила. Она отвечала:

– В первый раз, как я вас увидела, мне захотелось прижаться к вам, заплакать и заснуть. Потом она ему говорила:

– В вас – все. Я всегда хотела всего, и вы мне его дали. Меня очаровывает, что от вас, знающего жизнь с такой тончайшей точностью, постоянно исходят грусть и жажда, возвращающая бытию его нежный туман... Вы для меня – работник вечности. Когда вы недавно вечером стояли в прекрасном Люксембургском саду, и говорили, и двигались – были сумерки – мне казалось, что одна ваша рука гасит день, а другая открывает серебряную решетку ночи...

Иногда она с гневом говорила о своей любви.

– Это какое-то наваждение, – говорила она с искаженным лицом, – весь мир вокруг вас, только вы. Докуда мне надо протягивать руки, чтобы захватить вас всего?..

В другие разы она смотрела на него тяжелым, пьяным от счастья взглядом и спрашивала:

– Вы не сходите с ума от того, что вы – вы?

Наклонясь к ней, Филипп отвечал ей шепотом, как всегда; то, что он говорил, походило на исповедь и на вздох. Слова его были так теплы, так нежны, что казались из плоти и крови – точно внутренняя волна вынесла их на край его губ.

Иногда г-жа де Фонтенэ неожиданно приходила к Филиппу на дом, туда, где он работал и где она его увидела впервые. Она несла в руках книги, чтобы не возбудить любопытства лакея.

Она заставляла Филиппа пиущим и, так как все же боялась помешать ему своим

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
неожиданным приходом, снова проходила через все блаженное волнение первых встреч.

Однажды, когда она рассматривала разрозненные листки на столе Филиппа, он стал объяснять ей замысел и содержание книги о воображении, которую собирался писать.

Она слушала с этим биением век, хорошо передающим поглощение, а потом говорила, что это ее не удовлетворяет, и они оба смеялись.

– Я сейчас вам скажу, – начинала она – она чаще всего говорила ему вы, – я сейчас вам скажу...

И рассказывала все, что знает о воображении, о собственном воображении.

Филипп отвечал ей, восхищаясь, отдыхая от точности, изысканий и усилий:

– Как все это прекрасно, прекрасней всего, что я знаю, и насколько верней!..

Каждый чувствовал, что видит другого в том же изумительном свете.

Филипп смотрел на молодую женщину с нежной ослепленностью, минутами же – остро, едко, пронзительно.

Он ревновал и боялся, ревновал ее к самой себе.

Г-же де Фонтенэ это нравилось. Она тогда делалась туманной и далекой.

Она закалывала на голове темную, тенистую шляпу, которую Филипп ненавидел. Ему казалось, что эта шляпа возвращает ее другим, чужим, всем, кто проходит по улицам и увидит ее. Потом она начинала медленно ходить вдоль стола, с этими волнистыми, мягкими, ускользающими движениями золотистых линий в глубине прозрачной воды.

Он хватал ее за руку.

– Ах, Сабина, – говорил он, – ты молода, я старше тебя. Зачем я не встретил тебя в самое сильное мгновение моей жизни?..

Он говорил это, зарываясь лбом в лицо и волосы молодой женщины, – чтобы задушить эти слова, которые его самого слишком ранили, как бы обращая их только к нежному телу подруги.

Но Сабина, загораясь, шептала ему:

– Молчи, в тебе больше мудрости, чем солнца – в мире. Ты меня пугаешь и опьяняешь.

Филипп продолжал:

– Ты слишком молода, ты уйдешь...

– Ах! – восклицала Сабина. – Будущее, смерть, жизнь, не все ли равно? Те, кому для любви – мало дня, недостаточно любят! В тот день, когда я еще могла решать, прийти или не прийти, если бы мне в тот день сказали, что ты потом уедешь, уйдешь, умрешь, я все равно бы пришла, потому что будущего нет, есть только настоящее.

А Филипп повторял с неутешной горестью:

– Ты когда-нибудь уйдешь, о милая, милая и безумная: не знаю, что будет, но будет что-то страшное в этой любви.

– Не думайте об этом, – перебила Сабина. – Какое безумие об этом думать! Если и будет горе, то со мной. Поверьте мне, это всегда так было. Страдание идет к тому, кто к нему привык.

Он сердился:

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Как это возможно, чтобы ты страдала, раз я тебя обожаю, раз даже в двадцать лет я никого бы не мог любить, кроме тебя, раз ты – божественный конец моей жизни...

Возвращаясь домой, Сабина проводила блаженные вечера.

Мгновениями Анри, Пьер, Жером и Мария представляли ей в каком-то странном сиянии.

– Это оттого, что я его видела, – думала она, – что-то от него осталось на мне, и оно-то и делает их счастливыми, хотя они этого не знают.

Она приписывала Филиппу Форбье таинственную власть. Она заставляла Жерома играть на рояле смерть Изольды и, бросившись на диван, лежала, подобрав ноги, стиснув на груди руки, – казалось, она мучительно, страдальчески сжимает на себе твердое очертание своей мечты.

Все ее существо заострялось в одно бесконечное желание. Она вбирала в себя воспоминание о поцелуях Филиппа, как восхитительный, горький, ледяной напиток. Мгновениями слишком сильная музыка ее убивала; тогда она горячо вздыхала. Она пила безумие, как утопающие пьют волну: всем ртом и всею грудью.

V

Дома г-жа де Фонтенэ каждую минуту говорила о Филиппе Форбье, замечая, что ее муж, таким образом, привыкает смотреть на этого человека, с которым не встречался, как на невидимого, преданного друга. Его забавляло, что Филипп занимается с ней скульптурой и дает ей слишком трудные книги. Он смеялся над ее усидчивым чтением, точно каждый раз заставлял ее за какой-то скучной игрой.

Молодая женщина часто употребляла в разговоре любимые слова Филиппа Форбье. Это доставляло ей страшное удовольствие. Казалось, она вырывает у него изо рта какой-то восхитительный плод и в свою очередь запускает в него зубы. Сабина передавала эти выражения Анри, тот – Марии и Пьеру, и Филипп, таким образом, действительно пребывал среди них почти все минуты их жизни.

Теперь Мария копировала картины в Лувре, Жером сочинял, Анри никогда не было дома; один Пьер, более наблюдательный, мог бы заметить тайные, блаженные волнения Сабины. Но она об этом не думала, он меньше, чем кто-либо, мог бы смутить ее своей зоркостью.

Настал апрель, дни сверкали; Филипп лепил из темного медового воска голову и плечи Сабины.

К окну мастерской, большому и светлому, как водоем, прильнуло теплое вечернее небо: не было видно ни домов, ни деревьев. Только одно это чистое, нежное, длинное небо.

– Правда, такое небо должно быть в Египте, в Малой Азии? – говорила г-жа де Фонтенэ. – Пустота, пустота, молчание, пространство, и там, вдали, три пальмы, которые я сейчас выдумала...

Она бросалась на грудь Филиппу и шептала:

– Видеть с вами все страны мира...

Филипп отвечал:

– Ах, да, все страны мира... голубую Грецию и прекрасную Анатолию! Ты бы жила там полуголая, без платья, без башмаков, и я бы прижимался лбом к твоей нежной, бледной ноге, к этой ножке, которая иногда леденеет от волнения и сжимается, как рука...

Его расстраивало, что она часто плачет в сумерки, когда воздух мягкими полосами входит в открытое окно.

– Тебе нехорошо со мной? – спрашивал он, с глазами, напряженными от страха. Она отвечала:

– Да нет, да нет же; я плачу над счастьем, как пятнадцати лет плакала над

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
юностью, потому что они не вечны.

Иногда она говорила:

– Я не знаю, что со мной; я несу в себе, в самых темных недрах моего существа, тайную и жгучую расу – тысячи существ, которые бы хотели родиться от вас.

Он прикрыл ей рот обеими руками, и тогда она, казалось, тихонько засыпала.

В другие разы она больше не хотела выходить из комнаты, спускаться по лестнице. Она страдальчески говорила: «Я не могу» – и оставалась неподвижной, как те, что, в бешенстве, уже не пьют.

Он, знавший все, отягченный знанием человеческой природы и нервов, приходил в волнение, как если бы все, что исходит от нее, – вечно ново и не имеет еще примера в его памяти.

Однажды вечером г-жа де Фонтенэ вошла к Филиппу резче, чем обыкновенно. Весь вид ее выражал решимость. Он ждал ее и писал.

– Вот, – сказала она, – я хочу куда-нибудь с вами уехать, все равно куда, куда-нибудь, где у меня будете только вы.

И, усевшись к нему на колени, перед столом, загроможденным бумагами, – на всем лежала жаркая тень этого майского вечера – ждала, чтобы он обрадовался, выразил готовность сейчас же ехать. Он целовал ее и слегка улыбался.

– А все остальное, что вам нужно, – сказал он медленно, – все, что вам нужно, все это?.. Она рассмеялась.

– Ах, вы действительно думаете, что я что-нибудь другое делаю с утра до вечера, кроме того, что сто раз в воображении, в мечте вхожу к вам в комнату, сажусь в коляску и вхожу к вам в комнату?.. Вы – вы работаете; я делаю только это.

– Зачем, – продолжала она, уже довольная и смеющаяся, – вы живете на самой прекрасной улице мира, на улице, где проходили Мишле и Бальзак, там, где были все желания Мюссе! Только здесь я могу дышать. Проезжая по этим кварталам, пахнущим песней и школой, я вижу студентов с пышными волосами и легкими бородками. Все они напоминают Роллу.[3] Наверное, они в маленьких кафе, с разноцветными сиропами в витринах, пьют без жажды, просто потому, что любят пить. Они смотрят на меня, и я смеюсь. Ах, я прекрасно вижу, что все на этом берегу Сены – мудры и счастливы!

Филипп пропускал сквозь пальцы листки своей книги.

– Кто это счастлив?

Голос у него был странный, непривычный. Сабина встала.

– Почему вы так сказали? – воскликнула она. – С вами что-то творится, что с вами?

Он неестественно засмеялся.

– Ничего. Я был рассеян, нелепо занят этой работой. Он провел рукой по разрозненным листкам. Но голос оставался оскорбленным.

– Нет, нет, – продолжала Сабина, – что-то есть. Господи! Господи! что случилось?

И Филипп видел, как в ней, нетерпеливой, уже встают волны ужаса.

– Сядь, – сказал он, беря ее за руку и заставляя сесть, – это во всяком случае не так серьезно. Как ты кричишь... Ничего не случилось; только сегодня утром жена и сын показались мне совсем другими, испуганными, недоверчивыми...

Сабина снова встала. Лицо ее было жестко.

– Что с ними, – сказала она, – какое им дело, что они вмешиваются?

Филипп посмотрел на нее с упреком.

– Они ни во что не вмешиваются, Сабина, они страдают.

Она слушала. Потом воскликнула: «ах, да!», как если бы поняла. В действительности же, ничто в ней уже ничего не понимало.

Значит, все дело было в жене и сыне Филиппа...

Эта женщина и этот мальчик смели о ней думать! Эта мысль мало-помалу входила в ее потрясенную гордость, разрывала ее.

Она сдержалась; она тихонько сказала:

– Так что же теперь делать?

Ей бы хотелось сказать:

– Ах, какое мне до этого дело! Филипп снова привлек ее к себе.

– Ничего не делать, Сабина, только любить меня, как я тебя люблю: любовью, которая меня невероятно мучит. Остальное тебя не касается. Остальное – мне.

– Но скажи мне, – продолжала она, дрожа, страшась разъяснения вопроса, потрясавшего всю ее душу, – что она узнала, как могла узнать?

– Не думай об этом, – отвечал он. – Я, наверное, был слишком переполнен тобой, то слишком счастлив, то слишком несчастен; потом моя рассеянность, мое молчание. Потом твои приходы, потом – сам не знаю что, дружок.

– Значит, вот что я принесла в вашу жизнь, – вздыхала Сабина. – Впрочем, что мне все это, что все жалобы, все слезы мира, когда ты здесь?

Все вокруг нее менялось... Она видела обтрепанную обивку кресла...

Но Филипп, страстный и мрачный, привлекал ее к себе. Восхитительное забвение, детский смех, утешенная горесть нежно озаряли его лицо, и Сабина не противилась. Но теперь уже сердце ее с меньшей легкостью следовало за ее телом... Чужая опасность, жестокая и упорная, она бросилась в Филиппа, как в пропасть, и уже не отпускала его, как мертвые, которые уже не разжимают рук...

Г-жа де Фонтенэ угадала. Филипп страдал больше, чем показывал. Сентиментальное воспитание, полученное им в протестантской семье, узкий и мирный уклад которой пережил религию, располагало его к угрызениям совести.

На своей жене он женился еще юношей, любя ее.

Она была нежна, образованна, благоразумно красива.

Он был ей верен всей душой.

Все, что у него было в жизни радости, тревоги и счастья, он пережил с ней. Она потеряла дочь, у них остался сын, которому только что минуло двадцать лет. Нельзя было сказать, что он похож на отца, он был его подобием.

Филипп всегда думал о круге семьи и друзей с гордым сознанием, что он их вера, их радость, их гордость. Так он почувствовал огромное волнение, когда тем утром к нему вошел сын, озабоченный и смущенный.

Молодой человек спрашивал какие-то книги. Потом он нерешительно сказал, что матери надо отдохнуть, что она с некоторых пор выглядит очень усталой, что, может быть, можно было бы уехать в деревню.

– Да, – сказал Филипп, – ты прав, почему она не едет? Что касается меня, – ты ведь знаешь, как мне трудно, когда я в разгар новой работы, когда все бумаги,

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
все книги у меня здесь, под рукой.

Действительно, уже несколько лет Филипп почти не выезжал из Парижа.

– Все же, – продолжал Жак, – я думаю, и для вас было бы хорошо уехать, вы слишком много работаете, устаете.

Но Филипп не отвечал. В его жесте и молчании была решимость. Молодой человек продолжал:

– Когда-то, после того, как у меня был тиф, вы уехали со мной в Версаль и пробыли там больше полутора месяцев; тогда вы тоже писали; пожалуйста, поедem; до каникул, до отъезда в Вогезы, снимите дом возле Парижа. Это не прервет ни ваших, ни моих занятий.

Он взял обеими руками руку отца.

Филиппа это тронуло; он поцеловал его. Потом сказал:

– Милый, поверь, сейчас мне невозможно бросить работу, мне она нужна для моих зимних лекций. Твоя мать больна. Я это тоже заметил, это меня тревожит; постарайся ее развлечь. Мы сможем чаще быть вместе, если хочешь.

Но Жак все настаивал – теперь уже с болью.

– Ах! – продолжал Филипп, смущенный и слабый. – Говори, ты что-то хочешь сказать и не говоришь. Что тебе такое рассказали, что ты точно меня боишься; тебе что-то рассказали, и ты сразу поверил, не придя ко мне, не спросив меня. Но, малютка, какое безумие! Ты думаешь, я с ума сошел, ты, правда, думаешь, что я могу о чем-нибудь другом думать, кроме вас обоих, когда есть в моей жизни ты, ты – мой сын!

И, глядя на сына, он увидел, как он тождествен ему; то же лицо, те же склонности, та же нежность. И резкая мысль прорезала его, – мысль, что если бы Сабина увидела этого мальчика, то полюбила бы именно его, его, такого молодого и так похожего на отца.

И вот уже страшный ужас от присутствия сына в доме, нестерпимое отчаяние обрушилось на его сожженное сердце.

Он прижал к себе юношу – этим своим внезапным, ловким и буйным движением, которым брал в объятия все существо; тихо и нежно прильнув губами к шее сына, он говорил теперь:

– Милый, милый, ничего не спрашивай... Уходи...

VI

Несколько дней спустя Филипп Форбье, занятый окончанием статьи для «Философского обозрения», в час утреннего завтрака, услышал голос жены, звавшей его. Она открыла двери и сказала:

– Уже поздно, Жак сейчас будет готов. Иди, ты наконец заболеешь, ты никогда не ешь вовремя.

Но она говорила это неопределенно и, главное, хотела, чтобы муж прошел с ней в гостиную. Он встал и пошел за ней. Она смотрела на него. Он увидел на столе большой букет цветов, удивился, не понял.

– Ты не помнишь, – сказала она, робея и уже слегка радуясь, – сегодня годовщина нашей свадьбы... Уже двадцать два года теперь.

Филипп смущенно улыбнулся, поблагодарил, поцеловал ее в волосы. Он искал, что бы такое ей сказать, что бы не было ей горьким. Окунув руки в цветы, он все перевертывал буль-де-нэжи, все повторял: «Какие красивые!» – и упорно нюхал этот букет без запаха, все ждал, чтобы что-нибудь вывело его из замешательства. Ничто не двигалось; он обернулся к жене и, внезапно растроганный, нежно сказал ей:

– Спасибо, ты добрая.

И положил ей на плечи обе руки – несколько тяжело, по-детски, как всегда это делал. Тогда она заплакала, и сразу очень сильно; это было лицо, тонущее в слезах. Филипп не мог видеть, как плачут, без сознания вины и бесконечного отчаяния.

Несчастные смущали его до ужаса, делая его таким больным, что он сам начинал себя жалеть.

Она плакала, закрыв лицо руками. Филипп, испуганный, спросил:

– Что с тобой?

Он раздвинул ей пальцы. Она не сопротивлялась и опустила руки, открывшие ее лицо. Она немного улыбнулась, даже не пытаясь вытереть слезы, скрыть свой разбитый, убитый вид.

Да и к чему? Она никогда ничего не скрывала от этого человека за все двадцать лет, которые прожила с ним рядом; и теперь, впервые страдая от мужа, она не старалась скрыть от него своего горя, портившего ее, делавшего ее больной, некрасивой, старой, изношенной...

Пусть он видит ее такой! Это было ее смиренным желанием. Пусть!

И Филипп, действительно, чувствовал себя смертельно взволнованным.

Жена его стояла. Она вдруг показалась ему сгорбленной, пошатнувшейся. Он не привык видеть ее такой и с внезапной нежностью взял ее за обе руки, подержал прямо перед собой; потом спросил, с тревогой:

– Ты не больна?

Она ответила нежно, с огромной благодарностью:

– Знаешь, с тех пор, как у меня бессонница, у меня опять начались эти нервные боли в ребрах; сейчас я совсем не могу стоять прямо.

И она сновагнулась.

Он взглянул на нее: она, это была она!

Он вспомнил, что еще прошлой зимой она не казалась ему постаревшей. Для него она всегда оставалась прежней, двадцатилетней.

Ей было двадцать лет. Он встретил ее в саду, на лужайке, покрытой ромашкой. Он когда-то любил ее, желал ее, плакал из-за нее... Они двадцать лет жили любовной жизнью.

Они так знали друг друга, что сердца их были, как раскрытые ящики, где все наружу.

В течение двадцати лет они после каждого ухода, после каждого часа разлуки встречались, как школьники, приносящие друг другу все цветы, сорванные по дороге. Они жили в той же комнате; если бы Филипп во сне заговорил, она не узнала бы ничего нового.

Они жили, улыбаясь друг другу, как двое, знающие что-то, чего другие не знают.

И это кончилось... Что же теперь оставалось делать? Даже если бы она сейчас снова сделалась той белокурой девочкой, на которой он когда-то женился, он все же не мог бы ее желать; если бы к ней вернулись ее тридцать лет и то прелестное движение, которым она тащила за собой маленького сына, – он бы этого не заметил. Теперь ему нужно было сердце той, другой, сердце дикое, глубоко зарытое в нежной плоти; глаза Сабины всюду стояли перед ним. Он видел их как-то чрезмерно, не как два нежных, прекрасных глаза, но как два водоема в ночи.

Все же взял жену за руки и страдальческим голосом, вытекавшим из души, сказал ей:

– Если я тебе обещаю, если я тебе. клянусь, что все по-прежнему...

Руки ее нежно и мягко лежали в его руках. Она тихонько покачала головой.

– Ты не виноват, ничего не говори...

Он глядел на увядшее лицо этой женщины. Он держал ее за оба локтя.

Еще пять месяцев назад он брал ее так, чтобы поцеловать прямо в лицо. Теперь бы это выглядело, как поцелуй нищему, который бы огорчил их обоих. Он не поцеловал ее.

И подняв голову, как терпеливый учитель, не сердящийся на ученика за молчание и невнимание, он медленно продолжал:

– А если я тебе обещаю, если я тебе клянусь...

Но она сказала еще:

– Молчи, если я тебе поверю, то не потому, что верю, а потому, что люблю. Тогда он спросил ее:

– В конце концов, в чем дело? Что тебя мучит?

Она простодушно призналась:

– Не знаю... ты какой-то совсем другой, это главное... И эта женщина, которая к тебе приходит, которую ты лепишь, которая у тебя читает...

Филипп замолчал; потом, голосом тихим и мертвенным, – точно сознаваясь в своей вине, – сказал:

– Это безумие...

Она тотчас же поверила; она знала, что он не лжет.

Она сказала:

– Нет, я этого не думала, но ты нас больше не любишь, меня и мальчика; мы тебе надоели.

Страшная нежность затопила сердце Филиппа, дала ему возможность говорить из глубины, совсем естественно.

Он объяснил ей, что и как мог, нежно обманывал; и, изможденный столькими разнородными чувствами, он стоял перед ней прежний, такой, каким она его видела после долгих бессонных ночей – усталый, выпитый.

Она остановила его:

– Не говори больше, все кончено, все хорошо, все ясно... Она улыбнулась и ухаживала за ним, заставила его сесть, больше не думать.

– Ты убиваешь себя работой, – продолжала она, – ты, бесспорно, вправе иногда сердиться, я уже все забыла. И, все еще не отрываясь от него, смеясь, добавила:

– Позови мальчика, он у себя, я ему сказала, чтобы он не шел. Теперь она его больше не судила, она исцелила его.

VII

Прошел месяц. Ни Сабина, ни Филипп не упоминали о том, что их встревожило.

Оба, казалось, забыли об этом.

Иногда г-жа де Фонтенэ смотрела на портрет жены Филиппа и на карточки Жака.

Однажды вечером она встретила на улице г-жу Форбье. Буйным и нежным взглядом она

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
жадно охватила все лицо, все движения той. Ей захотелось подойти к этой женщине, притронуться к ней, любовно заплакать; она была двадцать лет жизни Филиппа!

Ей было грустно в тот день, когда Филипп объявил ей, что жена его уехала в их вогезское имение, куда к ней скоро приедет сын, а что сам он остается в Париже.

– Господи, а это им очень больно? – невольно спросила она.

Но она была счастлива.

Анри де Фонтенэ, только что избранный в депутаты, уехал с Пьером Балансом в научную экспедицию вдоль марокканских берегов.

Жером Эрель, Мария и ее мать уезжали в Уазу. Сабина оставалась свободной, никто не мешал ей быть одной, бродить, отдыхать.

Они жили с Филиппом в жарком июльском Париже, выжженном солнцем и мокрым от частых поливок. Низкий ветер крутился по земле; маленькие волны голубой Сены, ослепленные, оглушенные солнцем, были, как серебряные лепестки. Филипп еще много работал. Они вместе обедали, по вечерам гуляли. Набережные, улицы, лавочки – все отдыхало. Вдоль молчаливых улиц раздавалось громкое пение чижигов, сидящих над крышей из проволоки и салата. Зелень в Люксембургском саду к закату издавала запах разгоряченного металла – так пахнут летом в фруктовом саду лопата и лейка.

В г-же де Фонтенэ мгновениями поднималось беспокойство.

– В деревню! на волю! – вздыхала она. – Мне хочется голубой воды – голубой даже в стакане...

Филиппу она казалась нервной и слабой.

Однажды, обедая вдвоем в каком-то погребке Латинского квартала, они стояли у окна и забавлялись тем, что похожи сейчас на городских бедняков, у которых только и места, что это окно, открытое на улицу. Вдруг они услышали какой-то дальний гул. Он приближался к ним по бульварам, выростал в волну.

Это была толпа молодежи – студенты, устраивающие демонстрацию какому-то профессору. При свете фонаря Филипп узнал некоторых из них, виденных им на лекциях. Он показал их Сабине. Она зажала в руке руку Филиппа и, перевесившись через подоконник, жадно смотрела в сумерки. Вся ее ненасытная душа смеялась в эту минуту в ее сверкающем оскале. Филипп почувствовал ее лихорадку, задумался.

– Что же вам нужно, – вам, чтобы вы были счастливы? – в голосе его прозвучал упрек.

Она подняла на него свои горячие, детские глаза, прислонилась головой к его плечу и ответила:

– Ваша любовь.

Потом, выбрасывая наружу свою голую, слабую, властную руку, добавила:

– И возможность любви всех других... Временами она была мрачной и рассеянной. В другие разы она впивалась в Филиппа всеми своими десятью отчаянными ногтями.

– Где, – восклицала она, хватаясь за голову, как перед страшным несчастьем, – где, в каком слое воздуха я поймаю, наконец, очаровательное очертание некоторых твоих слов?

Настал август.

Сабине казалось, что она сейчас в Париже, как англичане – в Женеве. Это ее забавляло.

Филипп приходил к ней, она – к нему, на улицу Турнон. Это было ее любимое место встречи. Они были свободны.

– Видите, – сказала ему однажды Сабина; нежный вечерний ветер вносил в открытое

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
окно желтые, мертвые от жары листочки маленького сада. – Видите, как хорошо, что вы не уехали. Что бы со мной было теперь без вас?

Их руки бессильно лежали одна на другой.

– Не говори об этом, – сказал Филипп, – я преступник, преступник и сумасшедший.

– Почему? – перебила Сабина. – Вы им там не нужны, а здесь вы работаете, здесь вы со мной – мой; и я ваша, – добавила она с прекрасной улыбкой, где сказывалась вся ее любовная уверенность.

– Друг мой, – ответил он без улыбки, – если бы вы знали, как я уже давно должен был уехать, до чего я чувствую себя виноватым, до чего вы меня сделали слабым, бессовестным, презренным в собственных глазах! Каждый день приходят письма с просьбой приехать, такие кроткие, что мне больно.

– Почему же вы тогда не уехали, не едете?

– Я жду, – вздохнул он, – чтобы ты мне сама сказала. Мне лучше умереть, лучше видеть других несчастными, чем причинить тебе зло. Хотя ты и сильней почти всех женщин, хотя ни у кого на свете нет такого смеха, ты слишком много говорила мне о своей усталости, о своих огорчениях. Ты сделала меня страшным трусом, я всего за тебя боюсь. Скажи мне, что согласна отпустить меня на немножко туда, к ним, – только посмотреть, как они живут, – на совсем немножко, на один только месяц, причем я тебе каждый день буду писать... Скажи мне, я поеду.

– И это вы, – медленно отвечала Сабина, – это вы меня об этом просите! Вы хотите, чтобы я, я сама сказала вам, чтобы вы уехали?..

Она смотрела на Филиппа глазами такими четкими, такими явными, что казалось, с них содрали гладкую оболочку взгляда. Его охватило нетерпение:

– Я с вами об этом не говорил, я был расстроен и делал низости – вот и все.

– Теперь вы на меня сердитесь, это несправедливо, – вздохнула Сабина.

– Нет, – сказал Филипп, – Я не сержусь и не несправедлив к вам... Это вы не хотите меня понять. Вы не понимаете, что в жизни иногда нужны усилие и принуждение... Женщины этого никогда не понимают... Вся наша жизнь в этом, а мы не менее нежны, чем вы; только вы, женщины, вы нервны, вы не умеете хотеть, вам всегда уступали... Вы не отличаете маленького страдания от большого; когда вам противоречат, вам кажется, что вас убивают, и все, что угодно сделаешь, только бы не видеть ваших тоскующих лиц... Одному Богу известно, как я вас люблю, но все же чувствую, что не поступил бы плохо, если бы сделал то, что сделал бы на моем месте наименее совестливый человек.

Он шагал взад и вперед по комнате, и Сабина шла за ним, не пытаясь его удержать. Казалось, она идет по дороге своего страдания. Видя на поворотах темное, неподвижное лицо Филиппа, она думала:

– Это подло, я его мучаю, я его убиваю.

Наконец, она остановила его, положила ему на плечи обе руки, и, смеясь почти естественно – решимость всегда придавала ей веселье, – сказала:

– Вы уедете, вот и все; мы с вами сумасшедшие, вы уедете, мы просто об этом не подумали... Вы, конечно, правы; все, что вы говорите, – верно. И потом, клянусь вам, весь этот страшный ужас перед вашим отъездом – это было просто безумие... Теперь я все это вижу совсем иначе... Это даже очень просто... А письма, прекрасные письма, которые я вам буду писать, и ваши торопливые, нелепые ответы... и я, с моей тоской, и вы, такой довольный, – все это будет прекрасно...

Теперь уж она по-настоящему смеялась, утешенная и сильная. Филипп, раздавленный, только повторял:

– Это ужасно!..

И пытался освободиться от Сабины, приковывавшей его к этому месту вселенной; но

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
она держала его своими сильными, твердыми руками за кисти обеих рук и вырастала перед ним на всю свою волю.

Она понимала, что самое трудное надо делать тотчас же, и сказала, уже тише:

– Поезжай завтра, да? так лучше.

Он вздохнул:

– Вы этого хотите?

– Так лучше, – повторила она.

Она сделала все, что надо. Ее мужество дрогнуло. О, теперь она была вправе отдыхать! Все еще стоя вплотную к нему, она сказала тихо, с закрытыми глазами:

– Вот, вы уедете, вы уезжаете... Я представляю себе, что вы сейчас, сию минуту уезжаете... Я сейчас посмотрю, как это будет.

С минуту она помолчала, потом, раскрывая глаза, полные ужаса, сказала:

– Нет! не могу! у меня все болит. Здесь, в плечах, и здесь, в коленях, я чувствую, что не могу с вами расстаться...

Она шаталась. Филипп взял ее на руки и сел с ней. Она лежала у него на коленях, в его объятиях, вытянутая и слабая, как спящий ребенок.

Он говорил ей, угнетенный и страстный:

– Не думайте, забудьте, спите.

И, не открывая глаз, глядя ему сонной рукой лицо, она далеким-далеким голосом отвечала:

– Не правда ли, только этого заслуживают такие, как я: нежности и смерти...

VIII

После жалоб, и утешений, и окончательных настояний, после долгих часов, когда руки и души никак не могли расстаться, отъезд Филиппа был решен на завтра.

Он должен был ехать с вечерним поездом, и Сабина была у него уже с утра. В тот день у нее было оживленное лицо, движения были быстры, глаза смотрели ясно и весело. Филипп, переползая со стула на стул, убирал книги. Он хорошо справлялся с двумя противоположными чувствами. Так, несмотря на порядок и точность во всем, что он делал, печаль, висевшая над ним, придавала в тот день всем его движениям небрежность и ненужность.

Сердечная жизнь в нем была так сильна, что он умирал и воскресал от двух противоречивых чувств.

Сабина, склонившись над маленьким деревянным ящиком, бросала в него книги и бумаги, которые протягивал ей Филипп. Внезапно, вынимая из рук молодой женщины том, который только что ей подал, он воскликнул:

– Ах, вот чудная книга о преступлении и виновности, которую я там буду читать! Лицо его просияло.

– Это вам будет интересно? – спросила г-жа де Фонтенэ с мнимым равнодушием.

– Еще бы! – отвечал Филипп тем особенным, любовным голосом, которым говорил о вещах, зажигающих его желание. – Такое прекрасное исследование и такая увлекательная тема!

– А я, – спросила она, – чем я здесь буду развлекаться?

Он посмотрел на нее с болью. Он страдал; горе Сабина казалось ему лишней жестокостью. В эту минуту он ее не жалел; у него были к ней любовь и раздражение.

Она тоже была раздражена; она чувствовала, что все, что он сегодня скажет и сделает, будет ей враждебно. Чего она совсем не допускала – это его отъезда... Она чувствовала это по мере того, как Филипп, применившись к ее первоначальному решению, спешно и уверенно принимался за отъезд.

Скрытое и упорное сопротивление, потребность противоречить ему, давить на него, быть ему в тягость, все росло и росло в Сабине. Она уже не понимала, что он уедет. Раздраженная и капризная, как ребенок, она говорила и делала ненужные вещи, – так, без всякой цели, чтобы отвести на минуту слезы.

Когда он вздохнул:

– Только полчаса осталось, надо идти одеваться, – она ответила:

– Зачем? – и упрямо загородила ему дверь.

– Ну, пожалуйста, раз нельзя иначе, уж и без того невесело, – настаивал он.

– Что ж, идите, – уступала она и тотчас же рассерженно звала его обратно, так, ни за чем, из потребности в нем и потребности делать ему больно. Так, смешивая свои жалобы и упреки, один – терпеливый, другая – раздраженная, они к вечеру вошли на звонкий, стеклянный, железный вокзал, серый от взрывающегося дыма, трепещущий дорожной лихорадкой, проветренный ветрами прибегающих и убегающих поездов.

Между г-жой де Фонтенэ и Филиппом Форбье, зажатыми в толпе отъезжающих, ежесекундно вставляли другие лихорадки, другие жажды. Он понимал, что всего несколько минут еще ему быть с Сабиной, что после этого у нее будет страдальческое лицо, которого он не увидит; он жестоко и молча страдал.

Она шла за ним, тяжелая и рассерженная. Гнев и боль, мертвенное равнодушие и тоска вставляли в ней спазмами, ускоряли биение сердца, как крик.

Она смотрела на стеклянный вокзал, – счастливый, звонкий от шагов, распахнутый на все горизонты, все страны и все моря... Поезда уходили, – и в воздухе разматывались клубки гула; всюду лица, зажженные лихорадкой и мечтой. Забвение смерти!..

Школьник, несший чемодан и зеленую сетку для бабочек, чуть не сбил ее с ног.

Она, она одна никуда не едет!

Она думала об этом, идя по перрону рядом с Филиппом. Тем временем он говорил ей:

– Вы мне часто будете писать, да? Каждый день?

– О, не каждый день, совсем не каждый день! – капризно отвечала она.

Она увидела, что Филипп, которому уже была крайняя пора садиться в вагон и который не мог расстаться с ней без нежных, примиряющих слов, совсем теряет голову.

– Если вы так будете продолжать, я, конечно, останусь, – заявил он.

– Да нет, да нет же, уезжайте, ради Бога, довольно с меня всего этого! – воскликнула она, как человек, который вот-вот задохнется.

Потом, внезапно, добавила:

– Вы не сердитесь? поклянитесь мне, что вы не сердитесь!

Потом вздохнула, почти плача:

– Разве так расстанутся, – с такой злобой! Надо бы, по крайней мере, сказать несколько добрых слов на прощание.

И так как минута отъезда настала, и Филипп собирался войти в вагон, она буйно

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
схватила его руку и, вцепившись в нее всеми ногтями, страстно и жестоко пожалала ее.

Поезд дрогнул. Успокоившись, она подумала: «Теперь он уехал, теперь легче».

Длинный, раздирающий свисток катился в дыму.

Тогда, задыхаясь, захлебываясь, она, сильней чем когда-либо в жизни, ощутила необходимость, чтобы он был здесь, рядом, чтобы вокруг нее лежали эти две его руки, которые она любила, которые она так часто, в минуты любовной грусти, внезапно оборачивала, чтобы поцеловать в ладонь и так умереть...

Дни после отъезда Филиппа прошли для Сабины легче, чем она ждала.

Огромная усталость притупляла остроту воспоминаний. Она почти что наслаждалась свободой и отдыхом, полюбила спать, бродить по пустому дому, играть на рояле. От Филиппа приходили страстные, горячие письма, переполненные этим детским смехом, этим умением схватывать все и всему радоваться, этой любовью к бытию, так прекрасно горевшими на его лице и в его жизни.

Она тихонько мечтала о нем.

Наступала осень, еще зеленая и холодная, как незрелая груша.

В Париже, где она осталась по слабости и лени, ее стала преследовать природа, прежние радости.

Она вспоминала одно свое лето, в детстве, в Тироле, с свежими и жаркими деревенскими утрами, пахнувшими солнцем, мокрой землей, мхом и цикламеном. В ней также проснулась тоска по Турену, по саду ее отрочества, который отец ее продал и которого она уже больше не увидит.

Она вспомнила, как просыпалась сентябрьским утром в прохладной комнате, где сонные осы тихонько умирали внизу оконных рам.

Она вспомнила фруктовый сад, дома, покрытые холодной росой и похожие на желто-красные колесики, запах зерна и воды в голубятне.

На лужайке стояло два атласских кедра, шелковистых и переливчатых, как мех голубой лисы, и поднимались на полуденном солнце легкие стаи насекомых, дрожащие, как золотистый пар.

Она когда-то любила скотный двор, опрокинутые миски с кукурузой, маленькие искусственные скалы, где лазил зеленый павлин, такой печальный от медленного приближения осени.

Она когда-то грызла розы, которые становились тогда нежными, бледнеющими трупами; сосала круглые камешки, цвета серого сахара и ландыша, держала в руках тоскующих лягушек, чья маленькая шея билась так, как, должно быть, бьется в самой глубине цветочной чашечки сердце обольстительных цветов.

Она вспоминала, какие там, к концу сентября, стояли еще прекрасные дни, с закатами, такими грустными и нежными, с такою нежностью в траве и воздухе, что каждый час казался волнующим и слабым, как лица, которые хочется поцеловать в губы.

Ей опять захотелось на волю. Мария нежными, преданными письмами звала ее в Брюйер.

Анри де Фонтенэ писал ей часто; в своих письмах, полных путевых заметок, дружбы и спокойствия, он умолял ее уехать из Парижа, вредного в эту пору, и поселиться с его матерью и Марией, где она отдохнет от своей бродячей жизни и поправится. Мысль, что она поступает по желанию Анри и этим его радует, пробудила в ней нечто вроде умиленного удовлетворения.

Она подумала, что он простой и добрый человек, и радовалась, что он счастлив.

Она сказала себе, что если бы вышла за него замуж годам к шестнадцати, если бы их дочь не умерла, если бы он иногда говорил с ней о себе и о ней, если бы он ее как-то тверже и все же как-то нежней любил, она бы осталась ему верна.

Она приехала в Брюйер на прекрасном холодном закате, желтыми полосами лежавшем над лиловыми холмами. Дорогу до замка она прошла пешком, полев. Группы деревьев вдали напоминали волны. Наступала тень, ветра не было.

Воздух и вечер опьяняли ее. Подняв голову, она увидела елку, такую спокойную в вечернем воздухе. Она немножко постояла перед ней и с грустью позавидовала ей, живущей так высоко, в прекрасной тайне пространства и ночи...

По мягкому песку аллеи она медленно дошла до ворот замка; в мирной, слабо освещенной гостиной она застала мать Анри, Марию и Жерома. Мать Анри писала письма, которые тут же, с большим выражением, читала себе вслух, Мария вышивала, Жером ходил по комнате и курил. Мария при виде ее быстро встала.

Она чувствовала нежность ко всем троим, ей захотелось взять их за руки, сказать им: «Милые, милые!»

Все ей было отдыхом и радостью. Она почти не думала. Воспоминание о Филиппе было в ней, как сердце в теле: деятельно и безмолвно.

Она отдыхала, вспоминала, наблюдала. Ей казалось, что целые годы прошли в ее любви к Жерому... что тогда она была маленькая девочка, с утра до вечера бегавшая и кричавшая в зелени. Она уже не помнила, как тогда страдала, ей казалось, что эта любовь – ее юность, что даже страдания в ней были мимолетны и легки, как гнев ребенка.

Теперь она знала другую муку.

Этот мальчик, которого она любила, был ей теперь так безразличен, так нежно-безразличен, что она чувствовала к нему прямую, ясную дружбу, трудно дававшуюся ей с мужчинами. Она радовалась, что Мария счастлива.

Немного устав и рано улегшись после обеда, Сабина думала. Воздух в комнате был чистый и легкий.

Она думала, что у монашенок, давших обет целомудрия и покорности, должно быть, бывают в прохладных дортуарах такие белые, безмятежные вечера... Она уснула в непривычном для нее покое, уронив вокруг себя жизнь, как спущенную одежду.

IX

На следующее утро, пока в комнате раскрывали ставни, она, вся еще сонная, спросила письма. Она думала об этом во сне, с самого начала серого рассвета, – о том, что ее ждет письмо от Филиппа. Среди поданных ей писем она сразу узнала на конверте почерк Филиппа Форбье, – нервный и буйный, эллипсический и сжатый, говорящий о молниеносной мысли и краденом времени. Она затуманенным взглядом прочла это жгучее, живучее письмо, после которого она потом целый день хранила на лице эту прерванную, сдержанную улыбку, эти таинственные углы губ, которые Пьер сравнивал с туманными улыбками Винчи, все еще удерживающими на губах блаженное наслаждение...

Если это уже так кружило ей голову, – чем же будет встреча! Это примиряло ее с настоящим. Но иногда Филипп получал от нее кричащие страницы, где бушевали все чудесные возможности ее желания.

Филипп всем существом своим наслаждался этой изумительной душой, всегда опустошенной и всегда переполненной, где радость и жалость, разочарование, надежда, лихорадка, усталость и отчаяние были той же плоти и крови.

Филипп Форбье, в самое мудрое и осторожное мгновение своей жизни изысканно влюбленный в работу, готовый на все безумия и все же склонный к покою, наблюдал у Сабинины с успокаивающей его уверенностью ту особенную, изумительную легкость, с которой она управляла отчаянием, ускоряла и отстраняла безнадежность; из слез она выходила еще более живучей, еще более жадной к жизни. Печаль в ней была, как болезнь: то же изнеможение, то же трудное дыхание, – и каждый раз она, казалось,

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
окончательно выздоравливала.

Филипп вспоминал, как она входила к нему летом, расстроенная и угнетенная, и когда он, встревоженный, начинал ее расспрашивать, не то смеясь, не то плача, отвечала:

– Ах, опять у меня сегодня были тысячи выносимых невыносимостей!

Когда он, однако, начинал смеяться над резкими скачками ее настроения, она совсем без улыбки говорила:

– Не надо об этом, вы меня не знаете. Вы не можете знать, какая я, когда вас нет, а когда вы здесь, я – вы...

Но он видел, как она живет, и не упадки ее его тревожили. Его тревожили ее бездомные, безродные мечтания, жадное, ненасытное любопытство ее ослепительных глаз и ее открытый смех, как бы кусающий неизвестность.

– Как я ее удержу? – думал он. – И кто запретит ей хотеть и быть... В каждое ощущение она входит, как на остров, отделяющий ее от всего и всех. Она принадлежит музыке, которую слушает, и книге, которую читает. Она говорила мне, что, перечитывая недавно «Исповедь» Жан-Жака, позавидовала его любви к г-же д'Удето. В один прекрасный день она уйдет от меня, как пришла, стараясь причинить мне возможно меньше боли, – ведь она не злая; и доброта ее будет хуже всего. Я, останусь ее другом, потому что от нее не уходят, и в душе она верна. Она придет, будет сдержанной. Она подумает: «Как я могла его любить?!» – и будет смотреть нарочно непомнящими глазами, и это будет мне – жесточайший запрет... И, прощаясь, она быстро выдернет свою руку, чтобы я не имел времени вспомнить.

Однако эти мысли не слишком омрачали счастье Филиппа Форбье.

Выйдя из возраста, когда рассчитываешь на бесконечность, и от природы не заботясь о завтрашнем дне, он смотрел на Сабину, как на восхитительную драгоценность, одолженную ему судьбой.

Он любил ее мрачной страстью, но также и этой сознательной своей стороной, делающей для него наблюдение радостью, и еще прирожденным весельем деятельных умов, которые не могут отказаться от возвышенных занятий и больше останавливаются на радости, чем на печали. Сознание благородной, полной и щедрой жизни лишало его детской грусти любовного служения.

Наряду со страстью у него еще была к ней бесконечная снисходительность; он освободил бы свою подругу от всякого долга и оправдал бы каждый ее поступок.

Он знал, что одно у него, по крайней мере, никогда не отнимется: его власть над Сабинной, – власть его слабости, его силы, его ума, – и думал, как Ницше: «Женщина – невинна; чьи руки когда-либо были для нее достаточно нежны!»

В тихом вогезском саду шла теперь мирная жизнь. Жена и сын Филиппа с умиленным отречением предоставили ему заботиться о их счастье, как о лечении, которое касалось их всех и в котором он выигрывал больше всех. Впрочем, г-жа де Форбье и Жак уже больше не боялись Сабинны. Спокойствие Филиппа, его длительная работа, его нежная, веселая доброта окончательно их успокаивали. Все, что они знали о молодой женщине, о ее влечении к науке, объясняло им склонность Филиппа и посещения Сабинны; они снова привыкли быть счастливыми.

Филипп, нежный и прямолинейный, и от природы не выносящий лжи, привыкал теперь к ее несложному механизму с тем философским спокойствием, к которому приводят нас, в ущерб семейной добродетели, неизбежности страсти.

Он устроился со своей совестью так, что ни одна из его привязанностей не страдала.

Ложь теперь казалась ему одним из проявлений супружеской и отцовской заботы. Он даже с удовольствием наблюдал отблески одной своей любви на другой: мирная семейная жизнь еще сильнее разжигала в нем жажду Сабинны, жгучей и свежей, как мята; когда же он слишком от нее страдал, то находил в преданной и покорной нежности жены и сына восхитительное лекарство от своей слабости и гордости.

Несмотря на все свое опьянение Сабиной, он все же сохранял к ней, когда ее не видел и не был подвластен ее нежному безумию, это легкое недоверие, это враждебную сухость, вызываемые в нас ревностью и страхом.

Менее уверенный в ней, чем бы следовало, и полный ужаса, что когда-нибудь слишком будет от нее страдать, он постепенно приучал себя к разлуке. «Когда она совсем от меня уйдет, – думал он, – я буду жить без нее, как сейчас. У меня останутся книги, которые я читаю и пишу, научные беседы с благодарными друзьями, спокойствие моего дома, и нежный воздух, и деревья, которые я посадил, и мое знание вселенной».

Помня года, отделяющие его от Сабины, и горе, которое она сможет ему доставить, Филипп намеренно опережал ее в бесчувственности и твердости. Он слишком знал, каким он делается слабым и безумным, когда ее видит, и как она все сделает с ним, что захочет, зимой.

А она – в Брюйере – продолжала получать от него письма и, радуясь им, жила спокойно; ее усталость от смутного лета рассеивалась. Ей нравилось говорить с Марией; понемногу она узнавала, что та, благодаря гибкой и разумной воле, окончательно завладела сердцем Жерома.

С приезда г-жи де Фонтенэ в Уазу прошло уже более недели, и дни легко скользили от восхода к закату.

Однажды утром она, по обыкновению, гуляла, – только на этот раз одна: Марии нездоровилось, и она осталась дома.

Молодая женщина, в грубом дорожном пальто и мужской фетровой шляпе, надвинутой на глаза, весело шла по светлым аллеям, окаймленным газоном, под ногами ее катились глянцевитые красные каштаны, выскочившие из своих треснувших скорлупок.

Временами среди молчания поднимался птичий крик, едкий, острый и одинокий, как ягода остролиста в снегу.

Вся зелень парка, покоричневевшая и влажная, и цветы на изгородях, шершавые, облетевшие, склоненные, были пропитаны мягким, волнующим, предсмертным благоуханием.

Было холодно, надвигался октябрь. Проходя мимо фруктового сада, она ощутила на ветру запах груш, фиалок, резеды и кислой вербены.

Она шла за ограду парка и очутилась на узкой, грубо вымощенной дороге, уводившей в поля. Яблоки и груши склоняли над ней свои ветки, тяжелые от маленьких, жестких, неудавшихся плодов. Предполуденное солнце начинало блестеть и греть, и скоро надо всей этой осенью встало новое яркое лето.

Вдали холмы и плоскогорья напоминали карту, делались редкими и разъединенными, как на гравюрах. Деревья и домики вокруг высокого холма постепенно поднимались, казалось, совершали паломничество на его верхушку и напоминали, по движению, артериальные разветвления пейзажей Дюрера.

Г-жа де Фонтенэ встретила по дороге Жерома, и они вместе пошли домой, тихонько беседуя.

На крыльце стояла Мария. Она видела их. Лицо у нее было неприятное и взволнованное. Она сердилась. Сабина, недовольная, сделала вид, что не замечает; но, когда она, к вечеру, стала расспрашивать Марию, та сразу, с плачем, упала ей в объятия. Она рыдала, она все повторяла, что она – глупая, что не надо обращать на нее внимания. Она ревновала... Почему? Как? Неизвестно; она ревновала.

Она объясняла, что власть над Жеромом ей дорого далась, что она, наконец, добилась его нежности и наслаждения ею, а что в присутствии Сабины она чувствует себя слабой, уничтоженной, нищей.

Тогда г-жа де Фонтенэ, в припадке бурной и беспорядочной доброты, рассказала ей все свое приключение с Филиппом Форбье, только чтобы ее успокоить.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Я знаю, я знаю, – повторяла Мария, – но я тебя слишком люблю; он меня отрывает от тебя, ты меня – от него, не знаю, что делать.

Сабина видела, что Мария с каждым днем все сильней и сильней страдает от ее присутствия. Однажды она весело объявила ей, что собирается в Париж, что уже больше не может жить вдали от улицы, где познакомилась с Филиппом. Мария попыталась было ее удержать, но слабо, и отъезд Сабины был решен.

Рано утром Сабина спустилась в парк. Все окна в замке были еще закрыты. Она думала:

«И все же я с вами расстанусь, родные мои деревья, мирные мои учителя, так нежно ко мне склоненные. Сейчас я еще слышу и вижу вас, но еще до ночи я уеду.

Что со мной будет?.. Вы так крепко держали меня, бродячую и жалкую, что я была посреди вас, как своя; я говорила с вами. Я знала все ваши привычки, знала час, когда вы еще совсем сонные, когда под каждой из ваших веток – молчание, – и час, когда на вашей восточной ветке – солнце, и час, когда вы охвачены предвечерней тревогой, когда ветер в зарослях парка шатает слабые астры.

Вы знали, что я несу в себе образ человека, в котором – моя жизнь, и принимали нас обоих, потому что любите то, что просто».

Лужайки были покрыты лиловыми цветами безвременника, маленькими лопнувшими сердцами.

Сабина вошла в огород. Она часто туда заходила. Вдоль стены вился виноград, защищенный от всякого ветра. Все здесь было тепло, безмолвно и щедро. Правильными рядами следовали друг за другом – салат, раскрытый, как розы, высокая, медно-рыжая зелень артишоков, как бы вырезанная из бронзы, тонкие нити спаржи, летучие, как перья. Там и сям виднелись огромные тыквы, скатавшиеся вокруг своего стебля, – как с неба свалившиеся.

Вдоль грядок росли каймой осенние фиалки. Листья их походили на блюдечко с крупной росой; и запах этих фиалок был так совершенен, что, каждый раз вдыхая его, Сабина ощущала чудо.

– Ах, – вздыхала она, – где вы, мой друг, и какие поцелуи когда-либо вытянут мою душу из тела, мою душу, такую жадную, что всегда она простирается дальше вас и дальше меня самой.

В тот же вечер она уехала.

Х

– Господи, – думала она, сидя в вагоне, который ночь, прильнувшая к стеклам, замыкала, как шкатулку. – Господи, как все это раньше меня бы расстроило: это возвращение, одной, в пустой дом, и эта усталость, эта слабость, эта тяжесть в сердце и висках! Раньше я бы плакала; теперь я стала благоразумной. Как жизнь, в конце концов, легка! Надо только быть очень несчастной...

Несколько часов спустя она шла, неся свой довольно тяжелый чемодан по зимнему вокзалу, туманному от холода и дыма. В карете, увозившей ее по черным, звонким улицам, она тихонько дремала, охваченная этой глубокой усталостью, этим сном, в котором, как в вате, тонут удары сердца.

Вернувшись в свою наскоро приготовленную комнату, она быстро разделась и легла, наслаждаясь огнем в печи, слегка разгонявшим холодное дыхание остывшей комнаты. Она в каком-то сладострастном оцепенении чувствовала, что ничего уже не хочет сейчас, ничего не любит, кроме этого легкого озноба, этого холодка, этого тепла, поднимающихся вдоль ее тела, по свежим и теплым простыням, в мягкую подушку.

Но проснувшись утром, она увидела, что совсем не отдохнула. Ей было холодно, она немного кашляла, ей было грустно. В окне стояло жестокое голубое октябрьское небо в белых, круглых, как шар, облаках.

Что-то душило ее. Она представила себе лицо Марии – это смущенное лицо, сгорающее от нежности и страха. И Филипп уже казался ей немного далеким, немного жестоким, – он ведь не отозвался на ее новое горе! Не получив от него в то утро

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
письма, она стала упрекать его в лени.

Лентяй и бездельник, она это знала, с этим своим вечно озабоченным видом и с этими глазами одержимого, вечно ищущими вокруг себя пустое место во времени.

Она не раз, шутя, говорила ему:

– Раз вы сейчас все равно ничего не делаете, не будьте, ради Бога, таким занятым!

И он смеялся с нею.

Весь день она, мысленно, с ним спорила.

Она представляла себе его влюбленным в уголок осеннего леса, который он ей часто описывал, или какую-нибудь спутанную, взлохмаченную хризантему. Он на все смотрел с восторженным любопытством, как будто все видит в первый раз, и это иногда раздражало Сабину, – когда это длилось слишком долго и отвлекало его от нее.

На другой день пришло письмо, спешное, лихорадочное, где буквы летели, как быстрые стежки. Он писал о своих заботах, огорчениях, усталости: его жена была недавно очень больна, все в доме потеряли голову; теперь она поправлялась, но все еще были потрясены. Потом шли любовные слова, страстные, нежные и грустные, как если бы он писал изменнице, от которой уже ничего не ждет.

И г-жа де Фонтенэ, у которой уже горло сжималось от страха, что он еще долго не приедет, находила его бессердечным, возмущалась его сладострастной, подозрительной и снисходительной любовью: ах, любить спокойно и доверчиво он умел только ту!

– Я отлично вижу, – думала она, – что он смотрит на меня, как на безумие своей жизни, как на что-то второстепенное, что иногда важнее всего, но в чем он вечно раскаивается, на что он вечно жалуется, со своим культом семьи и правды.

Он, бедный, любит меня одним уголком своей темной мужской души, – самым темным, самым бессознательным, и поэтому смотрит на меня, как на злую соблазнительницу, и не видит, что я куда несчастнее его...

Так, ясными днями конца октября, на ветру, принаквашему к лицу, как прохладные руки, по лесам и улицам, блестящим и мокрым от частных ливней, гуляли по белому свету ее гнев и желание.

Она уже не могла ни слушать музыки, ни читать без мысли, что теряет в одиночестве единственное человеческое счастье, – то именно, для чего и созданы книги и музыка: несчастную, прекрасную любовь.

По вечерам она ходила к некоторым подругам и, уставясь в огонь лампы, говорила о страсти и ревности.

У одной из них она узнала, что г-жа де Розэ, жена ее отца, несчастна, что у нее любовник, от которого ее совесть ужасно страдает.

Она только подумала: «Господи, – и она!»

Она поклялась больше не ходить в театр, – ей слишком хотелось умереть при виде Гермiony, плачущей на груди Пирра, в одежде, рвущейся от ее бурного дыхания; ей слишком хотелось умереть от этого последнего сладострастия, этой кровожадности, этого героизма.

Иногда ее охватывала тяжелая усталость. Она бралась за вышивание, сначала работала насильно, потом увлекалась; ей уже хотелось написать Анри, уехать с ним куда-нибудь, создать себе новое счастье.

Но внезапно в ней вставала леденящая тоска, как если бы какой-то голос произнес внутри: «Ты же знаешь, что все это – обман, жалкий самообман твоей души. Ты не можешь жить без самого горького, самого безумного, самого мутного блаженства...»

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И она прекрасно знала, что не может.

В письмах к Филиппу она все смягчала, щадя его, считаясь с его личными работами, которые угадывала. Как-то раз ей стало так плохо, что она подумала было написать Анри с просьбой вернуться, остаться с ней. Но потом ей стало стыдно и отвратительно от мысли, что ему придется нести на себе горе, которое ей причиняет другой.

Когда она получила письмо от своего двоюродного брата, Луи де Розэ, с известием, что он женится, она заплакала, – так это ей показалось трогательным.

– Со мной, должно быть, творится что-то неладное, – думала она.

Она кашляла, все же выходила и отучалась есть. Мысли приходили полосами, – блестящими или темными, вызывая подъем или упадок; но никогда уже ни порядка, ни точности, ни радости. Однажды она отправилась к доктору, которого знала и любила.

– Доктор, мне очень плохо, – сказала она.

– Во-первых, сядьте спокойно, – ответил он.

Но она продолжала:

– Я не могу сидеть спокойно, я отдыхаю только, когда здорова.

И прибавила:

– Мне нужно, чтобы вы меня сейчас же вылечили, – умоляю вас! – от этой вечной боли в затылке и этой вечной тоски. Она во всех моих жилах, я все время плачу...

Он предписал ей спокойствие, сон, питание, посоветовал спокойно смотреть на жизнь – такую безразличную и забавную. Природа, говорил он, никогда не обманет того, кто умеет любить и созерцательно, и спокойно.

– Значит, солнце и лиловые вечера, и ночи с теми же звездами, что когда-то стояли над Агригентой и Коринфом, вам не разрывают сердца?.. – спросила она.

Он ответил, что все это ему очень приятно, и Сабина поняла, что для него природа – только воскресный отдых, нечто вроде огромной свето- и водолечебницы. О, для нее она была не тем! Для нее она была таинственным любовником, в честь которого она наряжалась в свои лучшие платья.

Видя, как она удивлена и печальна, он с бесконечной добротой спросил ее, нет ли у нее какой-нибудь заботы, какого-нибудь горя.

С минуту она подумала, сказать или не сказать, потом ответила, что нет, и с внезапной веселостью заговорила о другом. И лицо ее было так подвижно, глаза глядели так ясно, что доктор с большой радостью убедился, что не ошибся в возможностях этой природы.

А Сабина, уходя, думала:

– Что я могла бы ему сказать, что бы не было тщетным? Его доводы – не мои... Только удовлетворение успокаивает; от голода, жажды и усталости ведь не вылечиться тем или иным взглядом на мир, – но хлебом, водой и постелью; также и от несчастья меня вылечит только счастье... Оно ничего другого не хочет.

Так день от дня г-жа де Фонтенэ все глубже и глубже падала в свое горе, всем телом, неловко, как рабочий, который убивается насмерть.

Она писала Филиппу:

«Я не вас люблю, я люблю любить, как я вас люблю. Я ничего не жду от вас в жизни, милый. Я жду от вас только моей любви к вам».

Ее физическое недомогание сделало ее такой чувствительной, что ни один кончик ее души уже не был защищен, радость сделала бы ей больно. Она уже была вне жизни, с

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
мертвенным взглядом на мир.

Утром, когда в гостиной передвигали мебель и подметали, она ощущала грустное отвращение, какое-то жалкое отчаяние, как если бы это обыденное, преходящее занятие завладело всей ее жизнью, восторжествовало над всей ее мечтой.

– Когда-нибудь, когда я буду лежать мертвая, – думала она, – тоже будут убирать и подметать. Какая жалость – все эти маленькие мирные житейские законы!

Жена Филиппа Форбье поправлялась очень медленно. Сабина знала это из его писем. Тон их стал благоразумнее, сквозь слова слышался вздох: «Я старею, мне нужны спокойствие и чистая совесть, – и что я для вас, такой сверкающей?»

Ей хотелось, чтоб он знал, какая она теперь. Постепенно она поняла, что слова женщин не имеют смысла для мужчин, которые их любят.

Кроме того, усталость вызывала в ней какой-то упадок гордости, какую-то физическую боязнь занимать собой других, Марию ли, Филиппа – все равно.

Мария следующий месяц уезжала с Жеромом в Испанию; последнее письмо ее было счастливым и более уверенным.

– Бедная, – подумала Сабина, – как она меня боялась, я не давала ей жить.

И на минуту в ней проснулась что-то вроде тщеславного, насмешливого возмущения.

Тогда она в своем отчаянии вспоминала об одной учительнице рисования в квартале Клиши, когда-то дававшей ей уроки. Деятельная, веселая доброта этой бедной женщины и ее смирение предстали ей, как трогательная помощь.

Она нашла ее у себя, в маленькой холодной комнате, теплой только у самой печки. На шерстяной обивке мебели лежал тусклый дневной свет.

В углу кровать, задушенная периной и пологом, заменяла, должно быть, по ночам холод – удушьем и тяжестью.

Г-жа де Фонтенэ впала в отчаяние; учительница, которую она навещала, сжилась с этой обстановкой, находила в ней уют. Она любезно встретила Сабину, с которой не видалась уже пять лет. Сабина ждала большего восторга, она ценила свои посещения. Но старая дева уже не так смотрела на вещи. В последнее время жизнь сделалась слишком трудной. У нее не хватало времени даже радоваться. Она извинилась перед Сабиной, что тотчас же после завтрака должна будет идти на урок. Потом она стала расспрашивать свою бывшую ученицу, как она живет, что делает. Г-же де Фонтенэ, при виде этого бедного, угрюмого труда, не захотелось жаловаться. Она только сказала:

– Все в жизни – дело характера. Вы вот не чувствуете себя несчастной, а я чувствую...

– Не надо обо всем этом думать, – отвечала м-лле Жакэн, торопливо двигаясь по комнате, – но нет, я тоже чувствую себя несчастной. Время слишком быстро бежит; мне больше, чем когда-либо, нужны сейчас воздух, отдых, деревня. Я так и умру, не подышав свежим воздухом...

– Бедная м-лле, – вздохнула Сабина.

Она смотрела на эту женщину, во взгляде и улыбке которой уже стерлась доброта. Все движения ее, казалось, сводились к тому, чтобы открыть ящик комода или печную дверку.

– Я доведу вас до вашего урока, – сказала она.

И оставив м-лле Жакэн у какого-то подъезда, она вернулась домой с еще большей усталостью.

Она побродила по комнатам и легла; ей снились нежные, сентиментальные сны, о которых она, проснувшись, смертельно жалела. В этих снах душа Филиппа казалась ей такой близкой, такой осязаемой, что она могла до нее дотронуться. На его

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
лице, часами, стояло самое прекрасное его выражение; они были, он и она, в атмосфере, которую бы сами выбрали... И вся беседа их была проникнута такой совершенной и длительной душевной чувствительностью, что сердце Сабины во сне обмирало.

После этого ужасающая грусть пробуждения, легкое физическое недомогание скверного утра. Дрожащий взгляд Филиппа становился навязчивой идеей, светящейся точкой, которая призывала, раздражала и усыпляла.

Весь день этот свет стоял у нее перед глазами, она заперлась у себя в комнате, чтобы лучше вспоминать, и лежала, скатавшись на постели, прикрыв руками веки, с чувством почти физического наслаждения.

Бродя однажды утром по набережным Сены, она встретила в толпе молодых людей сына Филиппа Форбье.

Он так походил на отца, что Сабина страшно вздрогнула, мгновенно его узнала.

Они были тождественны... Она чувствовала, что у него неминуемо должно быть и сердце отца, эта двойная душа, мужская и женская, всегда находящая в себе достаточное удовлетворение.

Г-жа де Фонтенэ говорила себе:

– Он молод, как тот был молод, и красив, как он. В свою очередь, у него будут сыновья, похожие на него, с тем же лицом упрямого Антиноя. Сын Филиппа – это вечность той расы, от которой я умираю.

Все, что ее сдерживало, исчезло.

Она решила во что бы ни стало увидеть своего друга.

Она написала Филиппу, что хочет его видеть и что именно он должен приехать, – в Нанте, куда она могла бы выехать ему навстречу – ненадежно, там сейчас родственники ее мужа. Сделав это, она почувствовала себя как человек, спасший, наконец, свою жизнь: совесть ее успокоилась.

От Филиппа пришла телеграмма: «Еду» – и потом другая, что выехать не может, потом пришло письмо, с известием, что он будет в Париже через три-четыре недели.

Сабина уже больше не удивлялась, она привыкла к разочарованию, она говорила себе: «Ну, что ж», как человек, глотающий со сдавленным горлом. Тупым и спокойным взглядом смотрела она, как неудача толкает ее прочь из жизни.

Она уже почти не вставала.

– Спать! спать! – вздыхала она.

Однажды она сказала себе:

– Почему бы не спать – всегда?

И это соблазняло ее, как если бы ей дали глотнуть какого-то восхитительного вина.

Теперь она писала Филиппу немножко реже, и только полушутя; ответы его никогда ни на что не отвечали.

Она уже неясно представляла себе его там, у ее мысли уже не было сил на это путешествие. Даже если он теперь вернется, он все же будет далек, раз она его боится... Не тот далек, кто отделен пространством, а тот, кого боишься обнять...

Она также не старалась больше уяснить себе эту душу; это было слишком сложно, слишком утомительно, – к тому же – все мужчины, которых она когда-либо знала, были сумасшедшие.

Она спрашивала себя, любил ли ее, действительно, когда-нибудь Филипп...

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Она уже не думала обо всем этом, она видела видение, от которого умирала.

Из взглядов этого человека, из его точных, нежных движений, из всего, что в нем было смутного и чувственного, из желания, загоравшегося на его лице вместе с головокружительным вдохновением, она создавала себе что-то, чем себя убивала. Она делала это с мрачной радостью, полюбила свое безумие. Малейшие подробности жизни с Филиппом вставали в ее памяти. Она с разрывающимся сердцем вспоминала один вечер в Латинском квартале, в кабачке среди студентов, рабочих, женщин без шляп.

Перед столиками стоял артист, товарищ, исполненный жалкого дарования, умирающий от пьянства, и грустным голосом пел любовные песни, – подлые, пьяные, расслабленные песни, порочные и простодушные. В стихах, сопровождаемых томной, тягучей музыкой, говорилось о вечном желании, о запахе любимого тела, о любовном ложе под деревьями, о ревности и о ноже.

Все это подымалось из самых недр бытия.

Сабина вспомнила, что слушала тогда с огромным волнением всего тела, смятенная этой нищенской страстью, впивающейся в уста, как в хлеб. Жалкие женщины вокруг нее тоже слушали, – о, равенство любви и смерти! – слушали тихо и храбро, давно оставив за собой все опасности поцелуя.

И вот, в настоящую минуту, она никак не могла отделаться от одного из этих тягучих напевов:

Мне говорил однажды ты:

Возьми цветы

Для ложа, что мне будет гробом..

Что-то жгучее разрасталось в ее сердце; она уже не знала, чего так хочет; это росло, росло, уходило в бесконечность; она видела огромные солнечные пространства, и толпы, идущие к ней, и себя, богиню вечного желания.

А потом – угнетенность, слезы, отвращение ко всему.

Она говорила себе:

– Довольно таких дней... Больше не надо... Надо умереть.

Ей не верилось, что смерть ее, действительно, успокоит. Думая об этом, она улыбалась. Однажды она сказала себе: «Я покончу с собой». И это сразу сделалось безвозвратным решением, подобно механизму, который уже не может выйти из своих границ. Слабость и томление исчезли. Она занялась уборкой дома. Она чувствовала себя точной и сильной.

Поверив в возможность окончательного уничтожения, она успокоилась и прожила несколько дней, ни о чем не думая, ни над чем не мучаясь, все забыв.

Но проснувшись однажды утром, она с огромным давлением в груди поняла, что никогда уже не будет ни счастливой, ни довольной, ни просто спокойной.

Она поняла, что все кончено.

Эти последние дни, прожитые в каком-то сладком оцепенении, все расстроили. Предметы она различала только сквозь тяжелый, нерасходящийся дым, воля ее уже не вставала, – раз она знала, что все равно все кончено!

Почему? Она бы не могла сказать...

Филиппа она видела, как видишь на дороге того, кто уходит; все меньше, все дальше...

Она думала:

– Он вернулся к ним, он больше не вернется... Зачем жить? Она устала от всего. Этот день она провела в мертвенном безумии, отвращении, отчаянии. Выбросив всю свою силу, она к вечеру почувствовала себя лучше. Тогда она подумала: спасись, уйди из жизни, уйди каким угодно путем! Самым темным, самым страшным! Только

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
уйти!

Она говорила это громко, как бы прося чего-то, что можно получить. Потом она замолчала; она уже не жалела себя, – а как часто она себя в жизни жалела! Она говорила себе:

– Нечего себя жалеть, это глупо и подло, за глупость и подлость не жалеют.

Теперь она обращалась с собой жестко, сухо и властно, сердясь, что выносила себя так долго.

Было десять часов вечера.

Она напряженным шагом прошла в библиотеку, где стоял шкафчик с лекарствами. Она открыла его. Там были обыкновенные склянки и склянки синие – яды – с красными наклейками. Она прочла несколько трудных названий, потом увидела «морфий». Этот пузырек был у нее с лета – у Анри тогда был приступ ревматизма.

Она с любопытством читала надписи, увлекаясь, не думая о себе.

Морфий! Это напоминало ей одну болезнь ее отрочества. После целого вечера ужасных мучений ей впрыснули морфий. О, эта сладкая, ни с чем не сравнимая тяжесть! Она попросила второго укола, ей отказали, и тогда она целую ночь повторяла это слово: морфий, тихо, певуче, – голосом, влюбленным в мак...

Господи, как все это было далеко!

Она взяла склянку и иглу, находившуюся рядом. Десять грамм морфия – это убивает и не заставляет страдать.

Она вошла в свою комнату; топилась печка, что-то тихо и нежно свистело в дровах. Она села к столу, наполнила иголку ядом, положила ее на стол. Она сказала себе:

– Сейчас надо будет взять эту иглу, ни о чем другом не думать и сразу вонзить ее в тело.

Затем, успокоившись, стала искать конверты и бумагу. Она приготовила два конверта: на большем она написала адрес Марии, на другом – имя Филиппа. Мария уже сама доставит ему письмо.

Тогда, с лицом, постепенно разгорающимся, она написала:

.....

«Друг, сейчас я сделаю вещь, которую, думала, никогда не решусь сделать.

Сейчас двенадцатый час, в полночь я себя убью. Мне не страшно, мучиться я не буду. Вы знаете, с каким ужасом я всегда избегала страдания! Я подробно справлялась о том, что смогу почувствовать: я ничего не почувствую.

Друг, то, что я сейчас сделаю, я делаю с большой уверенностью и большим спокойствием.

Весь этот месяц был ужасен, но вот уже неделя, как мое отчаяние превзошло мои возможности.

Я знаю, что, если бы вы были здесь, вы бы сказали мне, что жесточайшая боль слабеет, уменьшается в течение нескольких месяцев; но ведь умираешь не потому, что боишься будущего, а потому, что не можешь вынести завтрашнего дня. И потом, о моей жизни нельзя судить, как о других; я теперь знаю, что тем временем, как судьба обманывает и разрушает опасения других, все ужасы, которые я предвидела, случились.

Разочарование и несчастье были правилом всей моей жизни, тогда как у всех остальных они – только случайность.

Друг, вы видели меня смеющейся и играющей и всегда в восторге, ибо я все в мире любила с убийственной страстью, но что-то во мне вечно всего боялось.

Я уже страдала, когда встретила с вами: так, из-за нескольких неудач и отчасти по привычке.

Я была, как пьяница, заходящий во все кабаки по дороге, но который был пьян, уже выходя из дому. Я родилась пьяной и всю жизнь прожила с жадой безумия и боли.

Когда я вас встретила, я узнала смертельное и чудесное счастье, я жила в ваших объятиях с непостижимой страстью, слабостью, усталостью и силой. Ни у кого, я думаю, так не сжимались зубы!

Вы любили меня и ушли от меня, потому что это понадобилось вашей жене и сыну.

Вы поступили как нужно: у мужчин есть совесть.

У женщин, дружок, нет совести, у них только ужасающее желание не быть несчастнее, чем возможно.

Если бы вы были здесь, я не смогла бы умереть; видя ваш взгляд и приближаясь к вам, я и без того умираю.

Если бы вы были здесь, вы бы взяли меня за руку и я бы сделала, как вы бы мне сказали, – как в день, когда я вас увидела во второй раз. Вы повели меня в библиотеку и, помогая мне на трудной лестнице, сперва сами того не желая, сжали в открытом, широком рукаве – мою руку. Если бы вы мне после этого сказали: „Бросься в окно!“ – я бы бросилась в окно.

Но вас нет, и я могу рассуждать. Сегодня утром, глядя на себя в зеркало, я увидела, что сделали с моим лицом все эти мучения и слезы: это сплошная тень, каждый уголок унижен.

Страдая и боясь за вас, я бы устала, состарилась, узнала бы эту пытку, которой, слава Богу, теперь уже не узнаю! – пытку уже не смочь дарить вам уверенную в себе красоту.

А иногда, я это чувствовала с опьянением и гордостью, я приносила вам все страны мира и все звезды неба в своих глазах и руках.

И потом, я всегда ощущала в наслаждении только то, что во мне самой. Когда я устала и чувствую свое тело жалким, я не вижу садов и цветов.

Друг, я за последнее время, ходя по улицам, много смотрела на лица женщин. Почти у всех, проходящих мимо, озабоченный лоб, черты, растянутые скукой, – они точно поселились в безразличии. Они не улыбаются и не смеются, даже не верится, что они могут смеяться!

Они ходят, садятся, занимаются, смотрят – с какой-то раздирающей точностью. По каким часам направляют они свои, такие тщетные, дни?

Я не хочу так жить, я не вижу, когда не радуюсь... Еще ребенком я чувствовала, что смирение и тяжесть – не для таких, как я!

И ты бы сам не хотел, мой милый, чтобы та, которую ты взял за ее неистовство, гнев и крики, которая в твоих объятиях была неуловимой и бесконечной, которая так смотрела, так хотела и несла в себе такую бурю, что ее движения и голос меняли цвет неба, – ты бы не хотел видеть ее такой спокойной и послушной.

Мой милый, последняя неделя размягчила мне сердце, сделала меня бедной и слабой. Я умиляюсь и плачу оттого, что напротив меня, на стене, висит моя детская карточка. Я там очень маленькая, лет двух, должно быть. Большие, несколько тяжелые, нежные глаза смотрят прямо перед собой. Я сижу совсем спокойно и терпеливо, точно мне сказали, что сейчас за мной придут. Волосы совсем гладкие, еще немного светлые, спущенные на лоб. Вид у меня очень благоразумный и чего-то ждущий. Голые плечи, в кружевном платье, еще гнутся, они, наверное, были мягкие и слабые, как тело птицы в руке.

Друг, эти плечи, на которых красовалось по большому пышному голубому банту – такому легкому! – снесли на себе нежное буйство ваших рук, склонивших меня

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru однажды к вашему желанию. Скажите, почему это так больно и почему я плачу о том, что я была маленькая, и такая благоразумная, и такая доверчивая!..

Мой милый, я всего боялась в жизни: грозы, ночи, одиночества и даже, когда еще вся горя, выходила от вас, – зимнего ветра, хватавшего меня на углу, – ах, я думала, что умру от холода!.. А сейчас я спокойно приму этот яд.. Вы видите, что сделала со мной эта неделя...

Теперь я хочу думать только о тебе.. меня не будет, но будешь ты, и это, единственно, важно: ты будешь зимой в той прекрасной темной комнате, где ты работаешь.

Ты будешь возле горячего камина, перед столом, покрытым книгами и бумагами; на лице твоём и шее будет свет от лампы, у которой фарфоровый розовый абажур и которая, мне казалось, светится только твоим лицом.

Ты будешь там, как в день, когда я в первый раз вошла к тебе.

Ты встал, у тебя был этот восхитительный взгляд куда-то в сторону, который не замечает людей, который, кажется, рассеивается в воздухе так, что все потом в комнате смотрит твоими глазами и горит.

Этот взгляд и какое-то мгновение твоей улыбки, что-то, о чем ты и не подозреваешь, – звук кончающегося смеха и какая-то складка рта, этот смех, который был – ты, и еще, признаюсь тебе, напоминал мне лицо одного человека, слегка смутившего меня в детстве, – твой взгляд и твоя улыбка были больше, чем ты. Вечером, расставшись с тобой, я старалась восстановить их, – и ночью тоже, когда так долго не спалось.. И когда внезапно, как дар, сделанный памятью, они вставали передо мной с точнейшей точностью, я чувствовала на своем лице эти двойные биения радости и боли, которые ты любил и которые являются вздохами плоти и крови.

Мой милый, уж скоро полночь, я спокойна, но плачу. Плачу из-за тебя, ибо, хотя ты и господин, а я – такая покорная, – у тебя все же иногда бывали заботы и огорчения, и я тогда клала тебе на голову руки...

Кто положит тебе на голову такие влюбленные руки?..

Но тебя нет, тебя нет, нужно было бы жить без тебя завтра, а я не могу... Вот уже полночь через несколько секунд; ты со мной, я закрываю глаза, ты со мной... Я вижу твои глаза и твой смех, и снова на мне весь запах твоего лица... Я закрыла глаза, ты здесь; ты не веришь, что я, правда, хочу умереть, и говоришь, глядя в сторону: „Какая она глупая!..“, и смеешься, и хватаешь меня обеими руками, и бросаешь к себе на грудь, и в тебе я умираю, и в тебе я умру...»

Первый удар полночи.

<1916>

ИЗ ПИСЕМ РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
ПИСЬМА К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
Париж, 17 февраля 1903 г.

...Вы спрашиваете, хорошие ли у Вас стихи. Вы спрашиваете меня. До меня Вы спрашивали других. Вы посылаете их в журналы. Вы сравниваете их с другими стихами и тревожитесь, когда та или иная редакция Ваши попытки отклоняет. Итак (раз Вы разрешили мне Вам посоветовать), я попрошу Вас все это оставить. Вы смóтрите вовне, а это первое, чего Вы сейчас не должны делать. Никто не может Вам посоветовать и помочь никто. Есть только одно-единственное средство. Уйдите в себя. Испытайте причину, заставляющую Вас писать; проверьте, простираются ли ее корни до самой глубины Вашего сердца, признайтесь себе, действительно ли Вы бы умерли, если бы Вам запретили писать. Это – прежде всего: спросите себя в тишайший час Вашей ночи: должен ли я писать? Доройтесь в себе до глубокого ответа. И если бы этот ответ был да, если бы Вам дано было простым и сильным «должен» ответить на этот насущный вопрос – тогда стройте свою жизнь по этой необходимости; вся Ваша жизнь, вплоть до самого безразличного и скудного ее часа, должна стать знаком и свидетельством этому «должен». Тогда приблизьтесь к природе. Тогда попытайтесь, как первый человек, сказать, что Вы видите и

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru чувствуете и любите и теряете. Не пишите любовных стихов; избегайте для начала слишком ходких и обычных тем: они самые трудные, ибо нужна большая зрелая сила – дать свое там, где уже дано столько хорошего, а частью и блестящего. Поэтому спасайтесь от общих тем к своим личным, поставляемым Вам данным днем Вашей жизни: расскажите свои печали и желания, преходящие мысли и веру во что-нибудь прекрасное – делайте все это с глубокой, тихой, смиренной правдивостью и берите, чтобы высказать себя, вещи Вашего окружения, образы Ваших снов и предметы Ваших воспоминаний. Если Вам Ваш день покажется бедным, не вините его, вините себя, скажите себе, что Вы недостаточно поэт – вызвать его сокровища; ибо для творящего нет бедности, нет такого бедного безразличного места на земле. И если бы Вы даже были в тюрьме, чьи стены не допускали бы до Вашего слуха ни одного из земных шумов – не оставалось ли бы у Вас еще Вашего детства, этого чудесного королевского сокровища, этой сокровищницы воспоминаний. Туда смотрите. Попытайтесь вызвать к жизни затонувшие чувствования тех далеких времен; Ваша личность окрепнет, Ваше одиночество расширится и станет сумеречным жилищем, далеко минуемым всем людским шумом. – И если из этого оборота внутрь, из этого погружения в собственный мир получатся стихи, тогда Вам и в помыслы не придет кого-нибудь спрашивать, хорошие ли это стихи. Вы также не попытаетесь заинтересовать своими вещами журналы, ибо они станут для Вас любимым, кровным достоянием, куском и голосом собственной жизни. Произведение искусства хорошо тогда, когда вызвано необходимостью. В природе его происхождения – суждение о нем: нет другого. Посему, многоуважаемый N., я бы ничего не посоветовал Вам, кроме: уйти в себя и испытать глубины, питающие Вашу жизнь: у истоков ее Вы найдете ответ на вопрос, должны ли Вы писать. Примите его как прозвучит, вне толкования. Может быть, окажется, что Вы призваны быть поэтом. Тогда примите свою судьбу и несите ее, тяжесть ее и величие, никогда не озираясь на награду, могущую придти извне. Ибо творящий должен быть для себя целым миром и все находить в себе и в природе, с которой он воссоединился...

Виареджио, близ Пизы (Италия)

5 апреля 1903 г.

...На сегодня – только еще две вещи: ирония.

Не давайте ей над собой власти, особенно в нетворческие минуты. В творческие попытайтесь употребить ее как еще одно средство охватить жизнь. Чисто взятая, она тоже чиста, и стыдиться ее не нужно; но – если Вы чувствуете ее себе слишком близкой, если Вы растущей близости с ней боитесь, тогда обратитесь к большим и серьезным вещам, перед которыми она становится маленькой и беспомощной. Ищите глубину вещей: туда ирония никогда не сходит и, когда Вы ее так поставите на краю великого, проверьте также, является ли такое восприятие жизни необходимостью Вашего существа. Ибо под влиянием больших вещей она либо отпадет (если случайность) или же (если действительно Вам прирождена) вырастет в серьезное рабочее оружие и войдет в ряд средств, которыми Вы будете осуществлять свое творчество.

А второе, о чем я Вам сегодня хотел сказать, следующее:

Из всех моих книг мне только редкие необходимы, но две всегда со мной. Со мной и здесь: Библия и книги великого датского писателя Jens Peter Jacobsen'a. – Я сейчас подумал, знаете ли Вы его вещи? Достать их легко... Достаньте себе томик «Шесть новелл»... и его роман: «Niels Lyhne»... и начните с первой новеллы первого тома – «Mogens». Целый мир на Вас нахлынет, блаженство, богатство, непостижимое величие целого мира. Живите некоторое время в этих книгах, присвойте себе то, что Вам покажется достойным присвоения, а главное – любите их. Эта любовь Вам тысячу и тысячу раз воздается, и – как бы ни сложилась Ваша жизнь, пойдет, я в этом убежден, через ткань Вашего роста, как одна из главных нитей среди всех нитей Ваших начинаний, разочарований и радостей.

Если бы мне нужно было сказать, от кого я узнал о сути творчества, о его глубине и вечности, я бы смог назвать только два имени: имя Якобсена, великого, великого поэта, и Августа Родена, скульптора, не имеющего себе равного между творцов ныне живущих.

Рим, 23 декабря 1903 г.

Мой милый N...!

Вы не должны остаться без моего привета на Рождество, когда Вы, среди всей окружающей радости, тяжелее будете нести свое одиночество, чем всегда. Но если Вы тогда заметите, что оно больше – радуйтесь ему; ибо – спросите себя сами, чего бы стоило одиночество, которое бы не было большим; есть только одно одиночество, и оно велико, и нести его не легко, и почти всем суждены часы, в которые они его охотно променяли бы на любую – хотя бы самую обычную и дешевую общность, на хотя бы призрак близости с первым встречным, с самым недостойным... Но, может быть, именно в эти часы одиночество и растет; ибо его рост болезненен, как рост мальчика, и печален как начало весны. Но это не должно Вас сбивать. Что важно – все же лишь только это: одиночество, большое внутреннее одиночество. Уходить в себя и там часами никого не встречать – этого должно достичь. Быть – один, как в детстве был один, когда вокруг ходили взрослые, переплетенные с вещами, казавшимися большими и важными – потому что. старшие выглядели такими занятыми – а ты в их занятости ничего не понимал.

И когда в один прекрасный день ты понял, что их занятия – жалки, их профессии заостенели и больше с жизнью не связаны, почему же и дальше не смотреть на них детскими глазами, как на чужое, изглубока собственного мира, издали, собственного одиночества, которое само уже – труд, и достоинство, и призвание. Зачем менять мудрое детское непонимание на борьбу и презрение, раз непонимание – отъединение, борьба и презрение же – соучастие именно в том, с чем, борясь и презирая, хочешь порвать.

Думайте, милый N..., о мире, который в себе носите, и называйте это думанье как угодно: будь то память о собственном детстве или тоска по собственному будущему, – будьте только внимательны к тому, что в Вас встает, и ставьте это превыше всего, что вокруг себя замечаете. Ваше внутреннее совершение достойно всей Вашей любви, Вы должны над ним как-нибудь работать и не терять слишком много времени и сил на выяснение Вашего взаимоотношения с людьми. Да кто Вам сказал, что у Вас вообще таковое имеется? – Знаю, Ваш род занятий (военного) тяжел и во всем Вам обратен, и заранее ждал Вашей жалобы, и знал, что она придет. Теперь, когда она пришла, я не могу Вас утешить, могу только посоветовать Вам – подумайте, не таковы ли все профессии – полные притязаний, полные вражды к отдельному человеку, насквозь пропитанные также ненавистью тех, кто молча и мрачно покорился своим трезвым обязанностям. Круг, в котором Вы сейчас осуждены жить, не более отягощен условиями, предрассудками и заблуждениями, чем все другие сословия, а если и имеются некоторые, с виду более вольные, то все же нет ни одного, существенно-просторного, связанного с большими вещами, из которых состоит настоящая жизнь.

Только отдельный, уединенный управляется, как вещь, глубокими законами, и когда ты выходишь в утро, вставшее, или смотришь в вечер, полный совершения, и чувствуешь, что там совершается – то всякое сословие с тебя спадает, как с мертвого, хотя вокруг сплошная жизнь. То, что Вам, милый N..., сейчас приходится узнавать, как военному, Вы бы ощутили это в любой из существующих профессий; мало того – даже если бы, вне всякой профессии, знали бы только легкие и независимые отношения с одним обществом – чувство удушья было бы то же. – Всюду так; но из этого не следует ни страха, ни грусти; если нет общности между Вами и людьми, попытайтесь приблизиться к вещам, которые Вас не покинут; еще ночи есть и ветры есть, идущие сквозь деревья и через многие страны; еще у вещей и зверей все полно совершения, в котором Вы можете участвовать; и дети все еще такие, каким Вы были в детстве, – те же грусть и счастье – и думая о своем детстве. Вы опять живете среди них, среди одиноких детей, и взрослые – ничто, и их величие – дым.

Но если Вам страшно и мучительно думать о детстве, о его простоте и тишине, потому что Вы уже не можете больше верить в Бога, который в детстве, во всем и всегда, – спросите себя, милый N...: да действительно ли Вы Бога – потеряли? А что если Вы его еще никогда не находили? Ибо – когда же это могло быть? Неужели Вы думаете, что ребенок может его объять, его, которого мужи несут с трудом, и под бременем которого гибнут старцы. Неужели Вы думаете, что действительно его обретя, можно потерять его, как камешек, – или, может быть. Вы также думаете, что обретенный им когда-либо может быть им утрачен? – Если же Вы признаете, что его в Вашем детстве не было, и раньше не было, если Вы чувствуете, что Христос был оболещен своей тоской, а Магомет обманут своей гордыней – и если Вы со страхом почувствуете, что его и сейчас нет, в тот самый час, когда мы о нем говорим – что дает Вам право его, никогда не бывшего, оплакивать и искать, как

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
потерянного?

Почему Вы не думаете, что он – грядущий, от века предстоящий, будущий, конечный плод дерева, листья которого – мы. Что Вам мешает перебросить его рождение в грядущие времена и жить свою жизнь, как болезненный и прекрасный день в истории великой беременности? Разве Вы не видите, как все, что случается, всегда случается сначала, и не могло ли это быть ЕГО началом, раз начало само по себе – так прекрасно? Если он – наисовершеннейшее, не должно ли ему предшествовать меньшее, дабы он мог выбрать себя из полноты и избытка. – Не должен ли он быть последним, чтобы все в себе вместить, и какой смысл имели бы мы, если бы тот, которого мы жаждем, уже был?

Как пчелы составляют мед, так мы из всего извлекаем сладчайшее и строим ЕГО. С малого даже, с незаметного (будь это только с любовью) начинаем мы его, с работы и отдыха вслед, с какого-то молчания или с маленькой одинокой радости; всем, что мы делаем одни, без участников и приверженцев, начинаем мы его, которого не дождемся, так же мало, как наши предки могли дожидаться нас. И все же они, те давнопрошедшие, в нас, как склонность, как тяжесть на нашей судьбе, как кровь, в нас шумящая, как жест, встающий из глубины времен.

Есть ли что, могущее у Вас отнять надежду когда-либо так же сбыться в самом далеком, в самом крайнем – Нем?..

Фуруборг, Ионсеред (Швеция)

4 ноября 1904 г.

...о чувствах: чисты все те, которые Вас собирают и поднимают; нечисто то, берущее лишь одну сторону Вашего существа и – так – искажающее. Все, что Вы думаете перед лицом своего детства, добро. Все, что делает Вас больше, чем Вы были в самые лучшие Ваши часы, правда. Всякий подъем хорош, если только он встает из всей Вашей крови, если он не дурман, не муть, а: радость, прозрачная до самого дна.

Ясно ли Вам, о чем я хочу сказать?

И Ваше сомнение может сделаться благом, если Вы его воспитаете. Оно должно стать знающим, оценкой должно стать. Каждый раз как оно захочет что-либо Вам испортить, допрашивайте его, почему вещь плоха, требуйте от него доказательств, испытывайте его, и Вы, может быть, застанете его беспомощным и смущенным, может быть и упорствующим. Но не сдавайтесь, требуйте доводов и поступайте так, внимательно и последовательно, в каждом данном случае, и день придет, когда оно из разрушителя превратится в одного из лучших Ваших работников – может быть, в умнейшего из строящих Вашу жизнь...

(Эти письма обращены к францу Ксавере Каннус'у, лейтенанту австрийской армии.)

ПИСЬМО К ДРУГУ (A UNE AMIE)

Вы знаете, что я не из тех, что пренебрегают телом, дабы принести его в дар душе, – моя бы такого подарка не оценила. Всякий подъем моего духа начинается в моей крови, поэтому я ввожу себя в работу, живя просто, чисто, без раздражителей и возбудителей, чтобы не обмануться относительно истинной радости духа, состоящей в радостном и – я бы сказал – славном созвучии всей природы. Но я сейчас нахожусь в необычайном внутреннем состоянии из-за этого длительного насильственного перерыва и, посему, необходимости вернуться к чувствам – очень ценным, но все же помеченным 1912 годом.

Еще немножко времени, и я, быть может, уже не буду понимать, как и откуда эти песни когда-то поднялись. Если Вы когда-нибудь узнаете некоторые из этих вещей, Вы меня лучше поймете, – так трудно сказать себя.

Когда я наклоняюсь над своей совестью, я в ней вижу только один закон, беспощадно-повелительный: замкнуться в себе и одним духом закончить дело, поведенное мне в самую сердцевину моего существа. И вот, повинуюсь – ибо Вы отлично знаете: стремясь сюда, я только этого хотел, и не чувствую в себе никакого права изменить направление моей воли, пока не закончу этого акта служения и послушания.

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
я приблизительно покончил сейчас со всеми пред-работами – говорю об ужасающем заторе своей переписки – подумайте (я только что подсчитал их сегодня утром) – я написал сто пятнадцать писем, но ни в одном не было меньше четырех страниц, а во многих восемь и даже двенадцать довольно сжатым почерком. (Я, конечно, не считаю всего пошедшего к Вам, это не писанье, это дыхание через перо...) Сколько писем! ведь столько людей, которые ждут от меня – не совсем даже знаю чего, – помощи, совета, – от меня, такого беспомощного перед самыми властными требованиями жизни! и, хотя я прекрасно знаю, что они ошибаются, обманываются – у меня все-таки искушение (и не думаю, что это было бы из тщеславия) сообщить им некоторые свои итоги – некоторые плоды моих длительных уединений. И женщины и девушки, ужасающе-одинокие в самом сердце семьи – и юныя новобрачные, испуганные тем, что с ними случилось... и еще все эти молодые люди из рабочих – в большинстве революционеры – сбитые после тюрьмы со всякого толку и ныне сбившиеся на «литературу», сочиняя стихи каких-то злостных пропойц: – что им сказать? Как приподнять их отчаявшееся сердце, как выпрямить их искаженную волю, принявшую под давлением событий характер заемный и совершенно случайный и несомую ими ныне в себе как постороннюю силу – почти неизвестного им назначения.

Опыт Мальте заставляет меня иногда отвечать на эти крики незнакомых, он-то бы ответил, если бы когда-либо чей-либо голос до него дошел, – и он оставил мне как бы целое наследие действия, которое я не мог бы ни направить, ни истратить на иное, чем любовь. Он-то и заставляет меня продолжать это служение, он-то и просит меня любить каждую вещь, которую хочу создать, всеми моими возможностями любви. Вот неотразимая сила, завещанная мне им. Представьте себе Мальте, который бы, в этом, столь ужасном для него Париже, имел бы подругу или даже друга. Разве он вошел бы тогда так глубоко в доверие вещей? Ибо каждая вещь (так он мне часто говорил в наших нескольких близких беседах), насущную жизнь которой Вы хотите передать, сперва Вас спрашивает: – Свободен ли ты? Готов ли ты посвятить мне всю свою любовь, лечь со мной, как Св. Юлиан Милостивый лег рядом с прокаженным, возвращая ему то бессмертное объятие, для которого мало простого преходящего милосердия, но двигатель которого – любовь, вся любовь, которая есть на земле. – Если же вещь видит (так мне говорил Мальте) – если же вещь видит, что Вы заняты – будь то хоть частицей Вашего внимания – она закрывается; она еще сообщает Вам, может быть, пароль, подает Вам мимоходом легкий дружественный знак (что уже много для смертного, замкнутого между смертных)... но отказывается дать Вам все свое сердце, Доверить Вам свою терпеливую сущность, свое тихое звездное постоянство, так роднящее ее с созвездиями!

Для того, чтобы вещь Вам говорила, Вы должны взять ее на некоторое время как единственную существующую, как единственное явление, помещенное усердием и исключительностью Вашей любви по самой середине Вселенной и на этом несравненном месте обслуживаемое в тот день Ангелами. То, что Вы, мой друг, сейчас читаете – один из уроков, мне, Мальте (моего единственного друга за столько годы страданий и искушений!) и я вижу, что Вы то же самое говорите, точь-в-точь, когда говорите о Ваших работах карандашом и кистью, ценных для Вас только как любовный договор, где кисть или карандаш только осуществляют объятие, нежное вступление во владение.

Не пугайтесь этого слова «судьба» в моем последнем письме: я зову судьбою все внешние события (включая болезни, напр<имер>, которые неизбежно могут прервать и уничтожить данное состояние духа или устремление души, одинокое по своей природе. Сезанн это отлично понимал, когда последние тридцать лет своей жизни удалялся от всего, что, по его выражению, могло бы «наложить на него лапу», и когда, при всей своей набожности и преданности традициям, упорно отказывался идти на похороны матери – чтобы не потерять рабочего дня. Когда я это узнал, это пронзило меня как стрелой, но пламенной стрелой, которая, пронзая мне сердце, оставляла его в пожаре яснозрения. Мало в наши дни художников, понимающих это упрямство, это страстное упорство, но, думается мне, без него мы навсегда останемся на периферии Искусства, правда уже достаточно богатой, чтобы разрешить нам то или иное приятное открытие – но не более чем игроку за зеленым столом – пусть временами удачливому – но все же подверженному случаю, этой послушной и ловкой обезьяне закона.

Мне часто приходилось отбирать книжку Мальте у молодых людей, запрещая им его

Прозаические переводы. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru читать. Ибо эта книга, конечная цель которой, как будто бы, доказать невозможность жизни, должна быть читаема, я бы сказал, против собственного течения. Если в ней горькие упреки – они относятся не к жизни; наоборот, это непрерывное подтверждение, что только по слабости, по рассеянности и по вине наследственных заблуждений мы почти целиком теряем несметные богатства, нам здесь уготованные.

Попытайтесь, моя Дорогая, пробежать переполненность этих страниц по этому руслу, – это не избавит Вас от слез, но может быть сообщит всем Вашим слезам значение более ясное, и, я бы сказал, прозрачное.

P.S. – Вот строфы, сложенные для Вас в субботу, гуляя по восхитительной аллее Холлингского замка.

Qui nous dit tout disparaisse?
de l'oiseau que tu blesses
qui sait s'il ne reste le vol,
et peut-être les fleurs des caresses
survivent à nous, à leur sol.
Ce n'est pas le geste qui dure
mais il vous revet de l'annure
d'or – des seins jusqu'aux genoux –
et tant la bataille fut pure
qu'un ange la porte après vous.

Rainer Maria Rilke

(Кто нам сказал, что все исчезает? Птицы, которую ты ранил – кто знает? – не остается ли полет? и может быть стебли объятий переживают нас, свою почву.)

Длится не жест, но жест облекает вас в латы, золотые, – от груди до колен. И так чиста была битва, что ангел несет ее вслед.)

ПИСЬМО[4]

(Несколько дней спустя после смерти Райнер Мария я получил следующее письмо, подписанное просто «Неизвестная». Даю его, не изменив ни слова. Это такое человеческое, такое голое свидетельство, что всякое пояснение излишне; я просто узнал с тех пор, что встреча, о которой здесь речь, произошла в 1916 г.).

Прочтя сегодня вечером Ваши строки о Рильке, обращаюсь к Вам.

Я знала его до войны и хочу Вам рассказать о нем одну вещь, вещь, смогшую произойти только в присутствии женщины.

Мы шли с ним вдоль решетки Люксембургского сада, теми спокойными местами, где добрая госпожа Nohant'a[5] некогда расстилала свое широкое, еще немножко слишком белое, платье. Я уже не помню, о чем мы молчали. Я, может быть, заканчивала в себе, на романтический и смехотворный лад, историю Абелоны... (Женщины долго не могут свыкнуться с бесконечными и неоконченными историями – рильковскими историями – никогда не оконченными, кончающимися, как земля кончается на краю пропасти: тайны.)

Он, может быть, думал о своей смерти, об этой смерти, только что начавшей его царствование, смерти бледной, скромной и молчаливой, от которой бы отрекся высокий «Дед», умершей с громкими воплями, в высоком зале, посреди множества народа.

Или же – и несомненно даже – с улыбкой думал о том, что сейчас сделает.

Он подошел ко мне в тот день, держа в руке великолепную розу. Он мне ее не поднес, он также не отдал ее на растерзание святотатственным ручкам моего двухлетнего ребенка, красоту которого любил, и я ничего не спросила его о присутствии этого цветка, ослепительного и непривычного.

В уголке, о котором речь, мы почти ежедневно заставляли старую женщину, сидящую на каменном краю решетки. Она просила милостыни – сдержанно и со стыдом, раз мы никогда не видели ее глаз и не слышали ее голоса; она просила всей своей позой, круглой спиной, всегда покрытой черной шалью – хотя было лето, опущенной линией губ, а главное руками, всегда полускрытыми черными митенками и крепко сжатыми между сдвинутых колен, руками более нищенскими, чем протянутые руки.

Каждый раз, как по взаимному уговору, мы опускали куда-то возле этих рук милостыню, испрошенную ими с таким невинным искусством. Старая женщина, не подымая головы, усиливала страдальческие линии своего лица, и мы никогда не видели ее глаз, не слышали ее благодарности, и у всех прохожих, подавших, была наша участь.

Как-то раз я сказала: «Она, может быть, богатая, у нее, может быть, шкатулка, как у Гарпагона». Р<айнер> Мария ответил мне только взглядом укоризны, укоризны легкой, извиняющейся, но так-удивленной, что возникла из-за меня, что я покраснела.

В тот день – женщина только расположилась в своей просительной позе – она еще ничего не получила. Я увидела Рильке, кланяющимся ей с почтением, не с внешним, с высоты величия, но с почтением рильковским, полным, от всей души, – затем он опустил прекрасную розу на колени старухи.

Старуха подняла на Р<айнера> Мария вероники своих глаз (такие синие и свежие между красными гноящимися веками!), схватила, быстрым и так-соответствующим всему жестом руку Рильке, поцеловала ее и ушла маленькими сношенными шажками, – в тот день уже больше не прося.

Рильке свел на-нет низ своего лица, поглядел на меня всеми глазами, всем лбом. Я ему ничего не сказала. Я постаралась доказать ему без слов, что поняла его урок, что бесконечно люблю его видение людей, что, мысля их такими прекрасными, такими избранными, такими божественными, он, он сам делает их прекрасными и божественными, и внушает им жесты, идущие непосредственно от самой высокой знати.

Неизвестная

Пер. Марина Цветаева.

<1929>

Примечания

1 Изафанские розы в их мшистых ножнах.

2 Моссульский жасмин и цветы апельсина... (пер. М. Цветаевой).

3 Герой поэмы Мюссе (примеч. М. Цветаевой).

4 Это письмо получено Эдмоном Жалу, автором книжечки о Рильке (примеч. М. Цветаевой).

5 «La bonne dame de Nohant», – Жорж Санд (примеч. М. Цветаевой).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!